

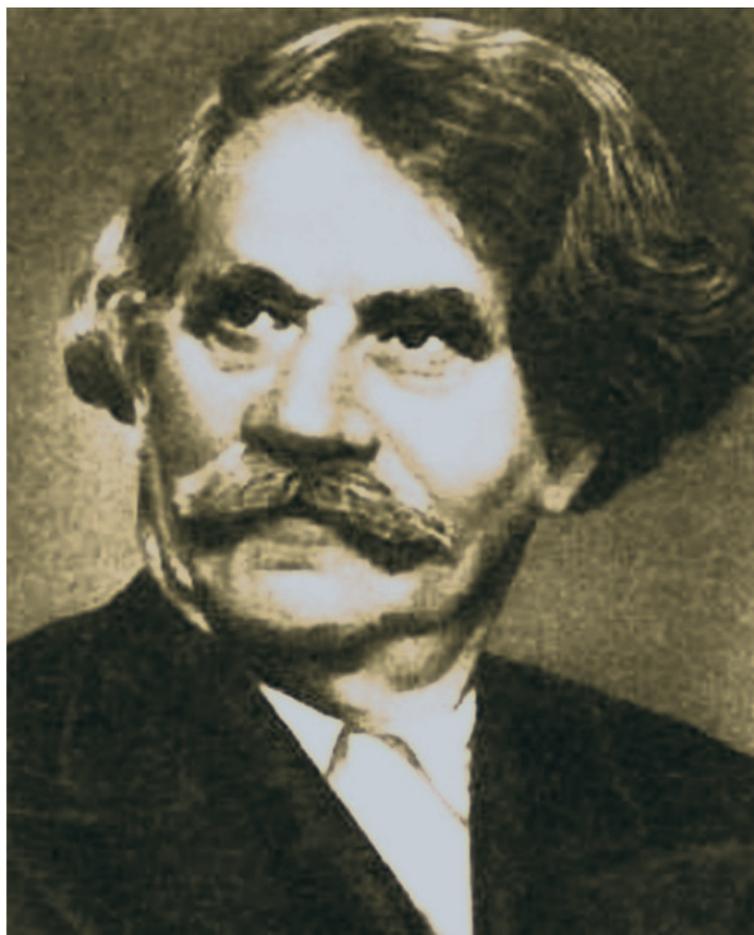
Писатели XIX в. о Святых Горах



С. Н. Сергеев-
Ценский
САД

V





Сергей Николаевич Сергеев-Ценский.

*Писатели XIX в.
о Святых Горах*

С. Н. Сергеев-Ценский

Сад

Повесть

Донец
«Донбасс»
2010

ББК 84(4РОС)5
С56

С. Н. Сергеев-Ценський. Сад. (коментарі, вступ. слово
В. М. Дєдова) – Донецьк: «Донбас» 2010. – 176 с.

ISBN 978-966-1615-26-6

Повість «Сад» видатного російського письменника С.М. Сергєєва-Ценського публікується в серії видань «Письменники XIX ст. про Святі Гори» (V випуск).

Твір написаний автором на «святогірських матеріалах» кінця XIX ст. і відтворює картини життя місцевого населення в умовах панування адміністративно- поліцейської системи в маєтності графа Рібопьера. Головною ідеєю повісті є протест проти соціальної несправедливості і заклик до протидії існуючій системі експлуатації. Твір написаний в «неореалістичній» манері, характерній для раннього періоду творчості письменника.

Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться історичним минулим Святогір'я і є шанувальниками літературного таланту С.Н. Сергєєва-Ценського.

ISBN 978-966-1615-26-6

© Дєдов В.М. Вступ. Коментарі. 2010

© Державний історико-архітектурний

заповідник у м. Святогірську – упорядкування 2010

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Очередной, V выпуск серии книг под рубрикой «Писатели XIX века о Святых Горах», посвящен творчеству С.Н. Сергеева-Ценского (1875-1958). Одно из ранних его произведений, повесть «Сад», написано целиком на «святогорском материале», собранном писателем в самом конце XIX века. Сама повесть была написана уже в октябре 1904 года, во всяком случае, эта дата обозначена во втором томе Собрания сочинений, изданного в 1928 году в Ленинграде. Впервые повесть «Сад»

была опубликована в журнале «Вопросы жизни», № 10-11 за 1905г., хотя первоначально автор передал рукопись в редакцию журнала «Мир Божий». Так, в письме от 20 февраля 1905 г. В.С. Миролубову Сергеев-Ценский писал: «В настоящее время в редакции журнала «Мира божьего» лежит мой довольно большой – в 3¹/₂ печ. листа – рассказ «Сад», признаться, я не особенно надеюсь увидеть его в печати и только потому, что сам герой протестует». Исследователи творчества Сергеева-Ценского отмечают, что выход повести «Сад» имел определенный резонанс не только в литературной среде. Журнал «Вопросы жизни» за напечатание повести «Сад» был закрыт, а само произведение, по выражению А.И. Куприна, принесло автору «политическое имя».

На самом деле, причины прекращения выхода журнала были несколько иного

свойства, но сам факт публикации повести в журнале, где сотрудниками выступали такие личности как Николай Бердяев и Сергей Булгаков, говорит сам за себя.

Востребованность «святогорских материалов» Сергеева-Ценского была продиктована теми преобразованиями, которые наблюдались в период первой русской революции, как в общественном сознании, так и в социально-политическом устройстве России. Этим настроениям в полной мере отвечало произведение молодого писателя Сергеева-Ценского с безобидным названием «Сад». В центре повествования находится молодой агроном Шевардин, который только что завершил учебу и надеется найти сферу применения своим знаниям на Украине. Путешествуя железной дорогой, Шевардин выходит на станции Святогорская и попадает в небольшое селение под названием Татьянаовка, кото-

рое расположено на берегу Донца, в непосредственной близости от Святогорского монастыря. В селе Шевардин входит в контакт с местным батюшкой и заключает соглашение об аренде небольшого сада. Красота и умиротворенность пейзажа Святых гор, располагают героя к созерцательности и наполняют радостью душу. Но постепенно умиротворенность героя улетучивается, реальные картины жизни крестьян с. Татьяновки и других сел округи все более занимают сознание молодого человека. Основную причину нищеты и бесправного существования местного крестьянства Шевардин видит в «майорате», – огромном имении, принадлежащем столичному графу. Последний, по мнению батюшки о. Мефодия и местного причта, оказался счастливым, получив в наследство огромное богатство, и теперь счастливо живет и развлекается за счет

имения, в которое наезжает лишь изредка для охоты. Имя владельца имения автор не указывает, но для читателя было очевидно, что рассказ в повести идет о графе Г.И. Рибопьере. Постепенно, по мере развития сюжета, святогорское имение и сам его владелец превращаются в сознании Шевардина из овеянного романтическими историями усадьбы времен Екатерины II в монстра, который своими щупальцами охватил всех, кто попадал в сферу его интересов: «Майорат сдавил меня со всех сторон, – делится герой своими ощущениями, – он как огромное чудовище, съевшее, что вдали, все, что вблизи... Он стал живым этот майорат...». Шевардин впитывает всю информацию, которую сообщают ему местный батюшка и соседи по саду в с.Татьяновке о графе, его семейном положении, порядках в «майорате», бесправном существовании и нище-

те здешних крестьян. «И то, как издавна сложилась здесь жизнь, – был произвол; и то, чем и как держалась здесь жизнь, – было рабство». Шевардин сам становится свидетелем случаев мучительного ухода из жизни роженицы из-за невозможности оплатить услуги акушерки, бедствий ещё одной семьи, потерявшей кормильца во время работы на лесопилке графа. Постепенно Шевардин приходит к мысли, о необходимости радикальных действий против административно-полицейской системы «майората», элементами которой выступают управляющий Аурас, полицейские урядники, черкесы с плетками. И наверху этой лестницы находится «главный виновник» – владелец имения, убрав которого можно изменить «ход истории». «Если граф холостой и бездетный умрет, то майората не будет», – наивно полагает Шевардин. Так, постепенно вызревает

план устранения графа, который главный герой успешно осуществляет в момент приезда владельца имения в Святые Горы.

Сам сюжет повести и его кульминация с убийством графа, безусловно, является художественным вымыслом писателя. В то же время главные герои повести и сам граф, факты из жизни крестьян и описание Святых Гор с окрестными селениями, взяты из реальной жизни и раскрывают перед читателем еще одну сторону святогорской действительности конца XIX века. Справедливости ради нужно отметить, что образ графа Г.И. Рибопьера, выписанный в черных красках на самом деле был не столь однозначен. В России граф был известен как один из самых щедрых меценатов спорта, как организатор олимпийского движения (по предложению Пьера де Кубертена граф стал членом Международно-

го олимпийского комитета). Известно, что благодаря Г.И. Рибопьеру во многом был обеспечен выезд олимпийской команды России в Лондон в 1908 году.

Вместе с тем, обладая огромными земельными угодьями и экономическими заведениями, граф требовал от своих управляющих рачительного ведения дел и прибыльного хозяйствования. Содержание обширных усадебных домов в Петербурге и Москве, увлечение конным спортом и селекцией породистых лошадей, требовали немалых средств. Эти средства отчасти черпались из природных и людских ресурсов, которыми управляли такие личности как Аурас. В действительности управляющего экономией графа Рибопьера звали Аврос. При нем функции «караульщиков» и «объездчиков» имения были отобраны у местных крестьян и переданы наемным охранникам из черкесов. За любое посяга-

тельство на природные ресурсы экономии графа, прежде всего, лес, выпасы, места рыбной ловли, введены были наказания в виде огромных штрафов. Часто охрана экономии в качестве воспитательного средства для местного населения использовала нагайки. На любой вид услуг в пределах «экономии» были введены тарифы, а лесная зона напротив монастыря стала именоваться «курортом Святые Горы». Ужесточение порядков в Святых Горах, введение повсеместных плат и штрафов значительно ухудшило положение местного крестьянства, которое, по мнению главного героя повести безропотно сносило все издевательства и молчало: «Мне все опротивело, – откровенно пишет Шевардин, – и сад, и Татьяновки, на том берегу и на этом, и сорок верст графского майората, в которомдохнут от голода мужики, и то, что тут все молчит: и лес, и река, и

люди. Главное, молчат люди – и это меня душит, и хочется мне рывкнуть во весь голос с какой-нибудь высокой точки, ну хоть с монастырской часовни на горе: – Да сколько же еще – сто лет, тысячу лет – вы будете молчать?». Этот «крик души» главного героя повести, можно принять лишь с определённой оговоркой. Бунт крестьян с. Банное (в повести – с. Неижмаково), о котором не раз упоминается по ходу повествования, есть достоверный факт. Во время Успенской ярмарки 1894 года администрацией экономии графа Рибопьера был не только введен порядок аренды на каждый квадратный метр территории торговли, но и значительно повышены тарифы. Во время ливня низменные торговые места напротив монастыря были залиты водой. Арендаторы естественно потребовали предоставить более удобные места, однако черкесы стали загонять людей на-

гайками в воду. Чаша терпения крестьян была переполнена, и мужики взялись за колья и другие подручные средства. Пострадала контора экономии графа, гостиница, где прятались черкесы. Были значительные жертвы: 5 черкесов были убиты, 2 полицейских урядника ранены, серьезные ранения получили 20 крестьян, из которых один умер. На усмирение бунта из Чугуева был направлен казачий полк, хотя услуги его и не понадобились. По итогам расследования «инцидента» 70 гражданских лиц были арестованы, в основном из местных крестьян. Большинство из них были осуждены на разные сроки и отправлены на каторгу.

Таким образом, реальные исторические события, произошедшие в Святогорском имении графа Рибопьера за пять лет до посещения этих мест писателем, не только нашли отражение в повести, но и слы-

шались как призыв к новому восстанию. В этой связи несомненен интерес к личности самого автора повести «Сад», его творческой биографии и месте, которое он занимает в истории литературы.

Исследователи наследия С.Н. Сергеева-Ценского по разному оценивают этапы творческого пути писателя. Как классика русской литературы, его имя ставят в один ряд с М. Горьким, И. Буниным, Л. Андреевым. Его эпопея «Севастопольская страда» о героях Крымской войны 1853-1856 гг. признана одним из лучших произведений предвоенного периода с присуждением её создателю Сталинской премии (1941 г.). Его вклад в литературу и научная деятельность признаны академической наукой с присуждением степени доктора филологических наук и звания академика (1943 г.). Труд всей жизни С.Н. Сергеева-Ценского, который так и остался не завер-

шенным, эпопея из двенадцати романов и трех повестей под объединяющим названием «Преображение России», получила признание не только внутри страны, но и за рубежом. Не случайно, Нобелевский комитет обратился в 1953 году к Сергееву-Ценскому, как старейшему писателю и академику, с просьбой предложить кандидатуру на присуждение Нобелевской премии в области литературы. Однако, не всегда творческий путь писателя имел хорошую критику и признание, были в его творческой биографии периоды, когда его произведения попадали под запрет цензуры, а его имя пытались связать с контрреволюцией.

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский родился 18 (30) сентября 1875 года в с. Бабино Тамбовской губернии. Его отец был школьным учителем, а мать – тверской казачкой. В 1890 году С. Сергеев окончил

Тамбовское училище, а в 1895 г. – Глуховский учительский институт. По окончании учебы С. Сергеев отбывает воинскую повинность, а в 1896 г. начинает педагогическую карьеру в Каменец-Подольском училище. Осенью 1897 г. Сергеев-Ценский переводится в Харьковскую губернию, где устраивается учителем истории и географии Купянского уездного училища. В этот же период он определяется вольным слушателем в Харьковский университет. Предположительно в эти годы (1898-1899) Сергеев-Ценский посетил Святые Горы, какое-то время жил среди местного крестьянства, собирая материалы для своей будущей повести «Сад». На рубеже XIX-XX вв. писатель много ездит по стране, работает в различных учебных заведениях, набирается опыта и знаний, готовит себя к литературной деятельности. В 1898 году публикуются его первые произведе-

ния – рассказ «Полубог», и сказка «Коварный журавель». Через три года выходит его первая книга, сборник стихов «Думы и грезы». С началом русско-турецкой войны Сергеев-Ценский призывается в армию, но обостренное чувство справедливости и «политическая неблагонадежность» определили его быстрое увольнение из армии. Именно тогда, в 1904 году, окончательно оформились его рассказ «Молчальники» и повесть «Сад», которые привлекли внимание литературной критики. После увольнения из армии, писатель поселяется на постоянное место жительства в Крыму. В Алуште он построил себе дом и полностью отдался литературной деятельности. Заметным явлением в литературе дореволюционного периода стали его произведения: роман «Бабаев», повести «Лесная топь», «Печаль полей», «Движение». Тема тяжелого шахтерского труда в угольном

бассейне Донбасса нашла свое отражение в повести «Наклонная Елена», которая впоследствии вошла в эпопею «Преображение России». Одним из первых обратил внимание на талант молодого писателя М. Горький: «Пораженные необычностью формы, критики и читатели не заметили глубокого содержания произведений Сергеева-Ценского. Лишь когда появились его «Печаль полей», они поняли как велико дарование и как значительны темы, о которых он пишет».

В годы первой мировой войны, революционных преобразований октября 1917 года, гражданской войны, Сергеев-Ценский оставался в Крыму, писал повести и рассказы по горячим следам бурных событий начала XX века. Наиболее заметные произведения этого периода – «В грозу», «Жестокость», «Обреченные на гибель», «Чудо». Несколько позже часть

этого цикла будет признана «пролеткультовской» критикой как идеологически вредная. По мнению цензуры в этих произведениях автор отражает взгляд «враждебных кругов», пытаясь показать деградацию России. В этот период, конца 20-х – середины 30-х гг. XX века Сергеев-Ценский обращается к «нейтральным» темам истории классической русской литературы XIX века. Именно тогда созданы романы и повести о А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе, а также роман о молодежи под названием «Искать, всегда искать». С момента присуждения Сталинской премии за «Севастопольскую страду» (1937-1939) цензорские репрессии против произведений писателя прекращаются. Книги Сергеева-Ценского переводятся на многие языки народов СССР и иностранные языки. Писатель удостоивается высшей награды страны – ордена Ленина.

После смерти С.Н. Сергеева-Ценского в 1958 году в его доме, в г. Алушта открывается литературно-мемориальный музей. Глуховскому педагогическому институту, где учился писатель, присваивается имя С.Н. Сергеева-Ценского.

В.Н.Дедов
Заслуженный работник
культуры Украины



С. Н. Сергеев-Щенский

Сад

Повесть

*Впервые напечатано
в журнале «Вопросы жизни»*

№ 10-11 за 1905 год.

I

В последнем классе земледельческого училища Алексей Шевардин проделывал гимнастику с пудовыми гирями, ходил упругой походкой с легким развальцем и, похлопывая себя по объемистой груди, самодовольно говорил: «Широокая кость!»

Целыми днями он возился в саду, в поле, в оранжерее, к урокам готовился ночью, спал без одеяла и аккуратно купался до первого льда.

Дед Никита, помогавший летом ученикам пускать плуги, жнейки, молотилки, а в остальное время состоявший в училище истопником, искренне любовался Шевардиным.

– Добытчик!.. Хлебороб! Истинное слово, хлебороб, – говорил проникновенно дед, корявый и темный снизу, светлый сверху, глядя на упрямую, круглую, как

точены́й шар, гладко стриженную голову Шевардина. – Богатеем будешь, – правду тебе истинную говорю... Настоящий мериканец!.. Знал я одного такого немца, – Идмуд Мартыныч звали, – вот деляга был, и-и-и, куды!..

– Зачем мне Америка, дед? – перебивал его Шевардин, по привычке вздергивая крупным, попорченным оспою носом. – Тут у нас своя Америка, своя земля людей ждет.

– Тесно у нас-то, внучек, вот что...

Глаза у деда были совсем ясные, детские, и, глядя в эти глаза, сквозь которые двумя острыми воронками прошла, не замутивши их, целая жизнь, Шевардин говорил громко и уверенно:

– Тесно бывает только узеньким, дед, а широкому везде широко... Жизнь – резиновая, всякому по мерке.

– Быть-быть, – сочувственно кивал го-

ловою дед. – Ты грамотный, тебе видней.

Шевардин был бобыль и учился на казенный счет. Далеко, в Новгород-Северске, у него была тетка, прачка, посылавшая ему по рублю к Рождеству и на Пасху. На эти рубли Шевардин покупал себе простого табаку и спичек; других расходов у него не было.

Когда Шевардин одним из лучших окончил училище, начальство выдало ему пятьдесят рублей в пособие до приискания места; но он не искал места.

Вблизи одной небольшой станции на юге, у причта села Татьянаовки, снял он фруктовый сад за сорок рублей в лето; местный батюшка выговорил себе три пуда антоновки и сенокос, а он поставил в условие – двадцать рублей уплатить сразу, а двадцать после.¹

В саду был старый, бурый от непогоды шалаш. Шевардин в первый же день по-

правил его, покрыл заново соломой, поставил в нем топчан, собственноручно сбитый из досок, а около выкопал в земле печку.

В тот же день на селе у кузнеца он взял напрокат переделанное из берданки ружье, на неуклюжем широком прикладе которого была выжжена кривыми каракулями замысловатая надпись: «Се гут, се бон, се балабанюка, се Лондон, се кузнец Иван Коваль».

А когда он купил в лавочке ковригу хлеба, мешок картофеля и два обливных горшка, бабы, следя за его легкой походкой с развальцем, уже знали, кто он и зачем приехал.

– У попів в аренту за сорок карбованців сад зняв... По хвамилии, кажуть, Шковородин, – из кацапів.

II

Сад, снятый Шевардиным, углом примыкал к селу, углом к реке.

Обнесен он был ветхим плетнем, который Шевардин в первый же день начал поправлять и выравнивать.

Груши в саду были старые, дуплистые, зато хороших сортов, и полносочные были яблони, а посередине, вдоль узкой дорожки, стеной стоял темный вишенник.

Между деревьями в густой траве желтел донник, розовел клевер, яркими кровавыми каплями сверкал дикий мак; с неровных щербатых зубьев плетня во все стороны кудрявыми струями сбегал хмель, а в густом воздухе, точно кипела вода, густо гудели пчелы.

И село и сад лежали в низине над рекою. Выше села по меловой горе взбирался крупный сосновый лес, по другому

берегу стелилось чернолесье, и через реку видны были старые князя-дубы, купающиеся в воде корнями.

Верстах в пяти вниз по реке лежал монастырь, и в море леса чуть заметно белый, он казался кучей яичной скорлупы, прибитой к берегу водою.²

Лес тянулся до самого горизонта. На меловых горах он был зеленее и реже, в



Общий вид Святогорской пустыни от дома графа Рибоьера

лощинах темнее и гуще, точно подымались и падали гигантские валы, и вдалеке, где проступали узкие робкие поля, разбивались желтеющими барашками.

И в сравнении с этим лесным простором сжатая в серый комочек Татьянавка казалась беспомощной, маленькой, жалкой и лишней, точно костер из сухой перегнившей соломы, пропитанной миазмами, который кто-то собрал в одно место и приготовился поджечь, чтобы очистить воздух. Но в Татьянавке было двести двадцать семь дворов и четыреста тридцать душ мужского пола.

Когда часам к одиннадцати вечера Шевардин улегся в шалаше на куче свежесорванной травы, над ним пронзительно тонко и хищно запели комары, в саду, не смолкая, стрекотали кузнечики, а из леса через реку доносился раскатистый торжествующий хохот филина. От этого хохота

становилось жутко, и лаяли на селе разбуженные им собаки.

В незатворенные двери шалаша черными шепчущими тенями толпились деревья. Ночь была месячная, и освещенное, паутинно-легкое небо радостно уходило куда-то от черных мягких силуэтов, пригвожденных к земле. И хотя у Шевардина мутило в голове от усталости и пьяного запаха травы, уснул он поздно.

III

Утром к нему пришел татьяновский священник о. Мефодий.

В рыжем подряснике и рыжей шляпе, грузный и черный, о. Мефодий принадлежал к разряду людей, говорящих громким, тяжелым, как свинец, басом. Почему-то такие люди склонны много пить водки, много говорить, оглушительно смеяться и

хлопать собеседника по колену.

– Доброго здравия, Робинзон Крузе!
– крикнул он издали, проступая сквозь чашу вишенника и раздвигая ветки бородавчатой самодельной палкой.

Шевардин подпирал в это время толстым колом завалившийся в сад кусок плетня, и плетень дрожал под его руками, и недовольно шипел, отрываясь, поднимаемый с земли вместе с плетнем цепкий хмель.

Отец Мефодий уселся на траве, подвернув угол подрясника, закурил папиросу и с лениво-веселой улыбкой следил за ловкими движениями Шевардина.

– Ну, вы – оригинал, я вам скажу, – не удержался он, наконец, и захохотал, точно ударил в турецкий барабан. – Как хотите, серчайте или не серчайте, а оригинал!

– В чем оригинальность? – недовольно буркнул Шевардин. – В том, что я сад

снял?

– Мало того, что сад снял... Этого, душа моя, мало. Дело в том, что вы хозяин природный, можно сказать – по призванию... Ишь как ворочает!..

Он помолчал немного и оживленно добавил:

– Знаете что? Великолепный факт: мы вас женим.

– Ладно, рано еще, – отозвался Шевардин.

– Чего рано? Девятнадцать лет есть, и роскошно женим. Вот Петровки пройдут и до Успенья, этак нежно, возьмем и женим... Что вы, батенька! Да вас попадье показать, она за вас зубами ухватится. Таковую вам невесту найдем – роскошь!..

– Чей это лес, батюшка? – перебил Шевардин, кивнув головою в сторону реки.

– За речкой? – Батюшка замолчал, глубоко затянулся и выдохнул: – Графский.³

– Весь графский? – обернулся Шевардин.

– За речкой? Сколько глазом видите – и туда, и сюда, и вот сюда этак нежно взгляните (о. Мефодий широко развел рукою) – все графское... По сую сторону только монастырского лесу порядочный клочок, а то и это тоже графское.

– Сколько же тут десятин?

Шевардин бросил плетень и выжидающе смотрел на попа серыми встревоженными глазами.

Отец Мефодий густо засмеялся.

– Эх вы, Робинзон! Кто же тут на десятины считает? Лесу конца краю нет, на сорок верст тянется, восемнадцать сел в нем стоят, а вы, этак нежно, – десятины! Тоже хватил мухой по обуху!

Шевардин, еще когда шел со станции в Татьяновку, знал, что тут есть имение одного графа, но размеры этого имения

представлял смутно. Теперь же оно сразу выросло перед ним в огромную гору, раздавившую в прах восемнадцать мелких Татьяновок.⁴ Это впечатление чего-то огромного, слепо навалившегося и тяжелого прошло и по его телу, и он инстинктивно передернул плечами, чтобы его



Святогорское имение. Выкопировка из Генплана 1797г.

сбросить.

А о. Мефодий сидел перед ним широколицый, грузный, улыбающийся и в промежутках между затяжками говорил:

– Прадед графа, француз, при дворе Екатерины брадобреем был, – хорошо брил и дамам шиньоны делал, за что и возвели его в титул, а имение это за женой получил – у Потемкина, говорят, любовницей была, – дело, конечно, темное и, так сказать, покрытое мраком истории...⁵ Теперь имение, конечно, в залоге и за крупную сумму заложено – восемьдесят тысяч ежегодно одних процентов платят, – шутка, а? Великолепный факт, а?

Задорно и пряно пахло кашкой, молодыми яблоками; что-то бесформенное, но свежее, зеленое, смеющееся все время стояло перед глазами, ежесекундно меняясь в очертаниях, и от этого зеленого тянуло спокойной и ласковой силой, но

Шевардин чувствовал, как с каждым словом сидящего против него грузного попа в него тупо входит обида.

– Самого-то графа мы редко видим, – продолжал о. Мефодий, – за двенадцать лет я его, кажется, только три раза видел, – без него машинка идет. Осенью, пожалуй, поохотиться придет: только за этим и приезжает – охотиться. Шлейф за ним тянется громаднейший: актриски, певички, эти самые еще плясавицы... как они?.. балерины, что ли, ну да... И откуда он их набирает!.. И не молодой ведь, не думайте, – лет сорок с хвостиком есть, а не унялся...⁶ Дела! Много этот поп денег глотает, – пожалуй, имения бы не хватило, только что майорат имение-то, продавать нельзя...

– Хорошо, а управляет им кто? – перебил Шевардин.

– Управляет? – Отец Мефодий весе-

ло взглянул на Шевардина, затаился и не спеша ответил: – Тут целая комедия в одном действии! Управляет кочегар из немцев-колонистов, по фамилии Аукас, а попросту, по-русски, мы его зовем Савкас, савкас он и есть настоящий.⁷ В министры попал почему? Понравился графу, что метко стреляет, бьет без промаху, – ну и убил бобра. Бесконтрольно, можно сказать, всем царством владеет, – за шесть лет трехэтажные дома в Одессе нажил, шутка, а?.. Рукой его не достанешь. Что хочет, то и делает. Мужики у него – пикнуть не смей. Ездит на тройках с форейторами, за версту слышно... Черкесов объездчиков завел – целый Кавказ. Чуть что, – этак нежно, – кинжал в спинку – и готово.

– Позвольте, батюшка, а полиция?

– Полиция? – Отец Мефодий хмыкнул.

– Полиция вся на графских лошадаках ездит. Да и дела тут полиции чуть. Конеч-

но, застали в лесу с поличным, нападение, самозащита, – знаете, как это делается? Одним словом, лексикон известный... Нет, вы скажите, как Аурац царствует? Все законы, и божеские и человеческие, попирает – цел и невредим... Вы думаете, на него мужики облавы не делали? Был такой грех, вышли из терпения, – ничего, ускользнул живехонек, а сам еще из этого бунт сделал. Мужиков же и секли... С черкесами тоже сражение было. Вот будете идти к Неижмакову, – это на том берегу село, – по дороге на просеке там кресты будут, деревянные кресты и камни. Там, знаете, Мамаево сражение было. Над православными, конечно, кресты, а камни над черкесами... Из-за баб дело вышло, черкесы баб обидели, ну, народ и осерчал... Восемь крестов там стоит, а камней или пять, или шесть, не помню; лет пять назад дело было.⁸

Упорно глядя на рыжую шляпу грузного попа и на его медленно движущиеся губы, Шевардин чувствовал, что входящая в него обида тоже грузная, медленная и рыжая, как желчь. Она густо переливалась по его мышцам и напрягала их, как камни.

– Будете идти так, по этой стороне, – махнул вправо о. Мефодий, – там каменоломня будет: около нее графская псарня, в оной псарне двести штук одних борзых содержится; молочной овсянкой кормят, и коровы для них особые есть. Считайте, самое бедное, по пятаку в день на собаку, – десять рублей в день, триста в месяц, итого три тысячи шестьсот рублей одного собачьего содержания – четырех причтов доход, – шутка, а? (Отец Мефодий ударил Шевардина по колену.) Как приедет сюда граф со шлейфом, по целому быку в день съедают... Вот дворец-то графский, види-

те, на горе белеется? Можно сказать, замок, гнездо орлиное!⁹

Всмотревшись, Шевардин увидел в лесу белый, с башнями по бокам, двухэтажный дом. К нему вела извилистая, се-



Всмотревшись, Шевардин увидел в лесу белый, с башнями по бокам двухэтажный дом

рая среди темных сосен дорога.

– Послушайте, батюшка, что он из себя представляет, этот граф? – медленно спросил Шевардин.

– Как «что представляет»? Графа, – лукаво улыбнулся поп.

– То есть служит где-нибудь или так?

– Насчет службы не знаю, навряд ли, чтоб служил, за границей он больше ви-тает... А может, какую-нибудь должность и имеет для видимости, не знаю, об этом не слыхал. Чего не знаю, того не скажу... А вот, если хотите, для иллюстрации, как говорится, был у нас недавно такой случай, прямо комедия в одном действии...

И длинно, с большими отклонениями, смехом и хлопаньем по колену Шевардина, о. Мефодий начал рассказывать, как графская экономия обманула крестьян из Неижмакова: обменяла песчаную косу на заливной луг с озером, обещая вместо

придачи вечный попас в лесу и вечный хворост для топки; обещание было дано на словах, а об обмене земли составили акт и запили его водкой.¹⁰

На другой же год застроили лужок дачами, а в попасе и хворосте отказали.

Уже три года судятся неижмаковцы, судятся упорно, с причитаниями и ссылками на Страшный суд и совесть, а экономия над ними смеется.

По мере того как говорил о. Мефодий, все больше темнело лицо Шевардина, и, безволосое, широкоскулое, оно было напряжено в каждой видимой точке, а о. Мефодий весело пыхал папироской, надувая щеки.

Ночью Шевардин видел странный сон. Будто сидел он над обрывом на реке возле сада. Сияла луна, и лес на берегу был черный и далекий, а вода серебрилась гладкими широкими полосами, изъеденными

отражениями. И было страшно тихо и на земле и в воде, когда раздались вдруг короткие, частые всплески, точно кто-то бил вальком по воде, и вслед за этим посредине реки, высоко приподняв изжелта-зеленую воду, показалась тупая огромная рыба голова, в полреки шириною, посмотрела в обе стороны на лес белесыми бычьими глазами и тяжело ухнула снова в воду.

И в берега от заходившей буграми воды ударились ревущие мутные волны, а по воде закружились подмытые ими с берега старые чаны, гнилые, зеленые от моха, — один, два, три... восемнадцать. Потом потонули чаны, на реке стало тихо, и Шевардин проснулся.

В голове его что-то больно стучало, звенели комары... Воздух был сырой от ночного тумана; из-за реки презрительно и злобно хохотал филин, и выли на селе собаки.

IV

Нужно было обобрать гусениц с деревьев: серыми шарами паутины окутали они китайку, анис, скороспелку; нужно было отпилить сухие сучья, мешавшие хозяйскому глазу Шевардина, нужно было подвязать слабые и низкие ветви, чтобы охранить их от полома во время июльских ветров.

Все это хотелось сделать скорее, и Шевардин решил нанять на селе поденщика.

Когда он рано утром пошел по улице, навстречу ему гнали волов в поле, и из-под них взвивалась тонкая желтая пыль.

С реки дул свежий ветер, и от этого ветра волы точно пробуждались на ходу. Все серые и рослые, как один, они останавливались, встряхивали длиннорогими головами и внимательно смотрели на шагавшего между ними Шевардина.

Где-то вдали подымался высокий журавль колодца; от реки по улице с двумя ведрами на коромысле шла некрасивая, долгоносая молодуха в мокрых чоботах, запачканных речным илом.

В стороне бросилось в глаза большое дворовое место, засеянное рожью. Рожь стояла, чуть-чуть сгибаясь, тонкая и желтая, а колосья ее странно двигались и были коричнево-черны от обсевшего их сплошь жука кузьки. Вид был такой, как будто этих жуков именно и желали видеть, и являлся игривый вопрос: не сеяли ли жуков вместо ржи?

Старик с бабой, ухватившись за длинную веревку, шли вдоль поля и хлопали по колосьям, и там, где они шли, выпрямлялись, жалобно качаясь, помятые изжеванные былинки, а позади их с земли снова подымались жуки и, недовольно жужжа, занимали прежние места.

Шевардин вспомнил, что дня три назад о. Мефодий за двадцать пять рублей служил молебен для избавления от гнуса.

Целый день ходили по полям, пели и кропили их святой водою.

Вечером пили водку, плясали и дрались. Жук остался.

У одной низенькой калитки стоял парень, босой, без картуза, с черными волосами в скобку.

– А что, хлопец, – подошел к нему Шевардин, – не пойдешь ко мне в сад на поденку?

Парень смотрел добродушными узкими глазами и чесал спину.

– А шо там робить? – спросил он после долгого молчания и отбросил кивком волосы со лба.

– Да что будет нужно, то и будешь работать... Работа легкая, – ответил Шевардин, сверху вниз глядя на парня.

– А шо вы даете? – недоверчиво спросил парень.

– Тридцать копеек дам.

– И то гроши, – презрительно качнул головою парень и снова потянулся чесать спину, лениво глядя вдоль улицы.

– Сколько ж ты хочешь?

– Сорок копеек даете? – хитро прищурился парень.

– Да, дам, пожалуй, и сорок, – чуть улыбнулся Шевардин, – только выходи сейчас, с пилой, если есть, и лестницу захвати.

Парень оглядел ботинки Шевардина, черные брюки, куртку с ясными пуговицами и зеленым кантом и отрицательно качнул головой.

– Ну? – спросил Шевардин.

– Ні, не хочу, – хмыкнул парень и, медленно повернувшись, пополз во двор.

Волы точно плыли по глубокой желтой

пыли улицы, небольшими кучками – по два, по три.

Они смотрели большими ясными глазами из-под белых ресниц, и было видно, что понимали что-то простое и близкое.

Глубоко вросши в землю и полузакрывшись обвисшими серыми крышами, в два ряда стояли избы, точно большие черепахи, раздавленные сказочным конским копытом.

Трубы на избах были широкие, четырехгранные, из плетня, обмазанного глиной, и Шевардин подумал, что вот именно в такие трубы могли влетать и вылетать оборотни, ведьмы, огненные змеи.

И река, дымившаяся внизу, и седой бесконечный лес по сторонам, и цепные лохматые псы, хрипло лающие из-за скрипучих ворот, – всё показалось очень знакомым из старых страшных сказок. Точно давным-давно, в незапамятное время, за-

стыла тут жизнь и превратилась в камень, и нельзя было оглядеть широкой сети этих камней, замелькавших перед глазами.

С одного двора рябая девка в красном платочке выгоняла пару волов вдогонку стаду.

Шевардин подошел к ней.

– Слышишь, девка! В сад ко мне на по-денку пойдешь?

– У сад? У попивский? – спросила девка.

– Ну да, в поповский.

– Чего ж не пейты, – можно пейты. А ще кого берете?

– Да больше мне не нужно, одной довольно.

– Эге... так мини нельзя, – заулыбалась девка, отходя в сторону.

– Почему нельзя? – не понял Шевардин.

– Та так... Може, вы и ничего, так люди

осудят, проходу не дадут.

По рябому круглому лицу девки ползала не то виноватая, не то стыдливая улыбка, желваками выступая то около губ, то в углах глаз, а серые волы мотали перед ней длинными грязными хвостами.

В конце села указали Шевардину пришлого садовника Игната, жившего здесь на квартире у бобылки старухи.

Старуха была согнута, как конская челюсть, с черными руками, с детскими глазами на рубцеватом выжитом лице, с сеньскими косичками, выбившимися сзади из-под повойника.

Было что-то с младенчества страшно знакомое в том, как она двигала руками, когда ходила, как шмурыгали по глиняному полу босые, костлявые, опаленные солнцем ноги, в том, что и как она говорила, в том, как ретиво она возилась у печки.

И веяло от нее все той же старой, забытой сказкой: избушкой в лесу, ступой, костяной ногой, заколдованным зельем.

Садовник еще спал в горнице, и старуха пошла его будить, а Шевардин стоял в низкой избе, вдыхал густой, зловонный воздух и читал на стене около образов длинный лист: «Сказание о том, коим святым каковы благодати во исцеление и помощи от бога даны и кому надлежит молиться:

О исцелении зубные болезни – священномученику Антонию.

О исцелении от трясовицы – преподобному Мирону.

О избавлении от винного запоя – мученику Вонифатию.

О обретении украденных вещей и бежавших слуг – св. великомученику Феодору Тирону...»

Славянские буквы, строгие, сухие, как

схимницы, степенно шли одна за другой и сливались в непогрешимые слова:

«О избавлении от блудные страсти – преподобному Мартиниану.

О исцелении от грыжной болезни – великомученику Артемию.

Аще возненавидит муж жену свою – святым мученикам Гурию, Самону и Ави-ву...»

Очень много для такой убогой и тесной избы было разных икон в углу, икон все старых, темных и мрачных, и какие-то маленькие, белые и синие пузырьки укромно выглядывали из-за них, покрытые пылью.

И все кругом было древнее-древнее, чуть не вечное, начиная с трухлявых бревенчатых стен и по всем направлениям треснувшей и дымящей печи и кончая лавками, тряпками, кочергами. Точно все тут было святыней, точно всю жизнь тут заботились только о том, чтобы оставлен-

ное далекими предками сберечь отдаленным потомкам.

А за узеньким окошком на пыльном дворе бродили куры, бродили так же, как тогда, когда на их ножках повертывались задом и передом таинственные избушки.

Старуха вошла сердитая, с безнадежными жестами крючковатых рук, и много ядовитого добродушия было в ее скрипучем голосе, когда, приседая перед печкой, она пропела:

– Нема чого й ждаты!.. Вин у нас такой невдачный, такой невдачный... Вин позавчера був пьян, учора був пьян, а сегодня з похмилля... Живе – грошей не платить... А бодай тобі добра не було, да бодай в тебе рыло одпало, що ты такой ледачий!..

Когда Шевардин выходил, то в низкой двери звонко стукнулся головой о косяк.

Уже не желая искать поденщика, он шел по улице обратно в сад, и шаги его

были широкие и злые.

Навстречу ему ползли низенькие хатки с низенькими оконцами, низенькие крылечки и плетни; пахло неосевшей тонкой пылью и навозом; мерещилось то сказочное царство, которое усыпил какой-то юморист-волшебник неизвестно когда, неизвестно зачем.

V

Из угла своего сада, примыкавшего к реке, Шевардин любил наблюдать широкую воду и отражение в ней облаков и леса.

Опрокинутый в воде лес казался мягче, таинственнее, нежнее; облака быстро-быстро уходили куда-то в глубину, точно толпа испуганных видений, закутанных в широкие белые покрывала.

Так как они исчезали в лесу, то каза-

лось, что лес тихо и уверенно глотал их одно за другим, а когда по воде шла легкая зыбь, казалось, что он самодовольно смеялся.

Улицы села днем были пыльны, жарки и пусты, и пульс татьяновской жизни бился на реке, возле низкого грязного берега и отмели, покрытой зеленой тиной.

Часов в одиннадцать утра к воде на тырло пригоняли скот, и, смотря на ленивые движения волов, Шевардин думал, что вся жизнь тут осуждена идти неминуемо воловьим шагом и что иною эту жизнь нельзя представить.

Волы стояли по колена в воде; в стороне от них под двумя старыми ветлами, сбившись в кучу и спрятав головы, неподвижно и беспомощно гуртились овцы.

Толпа белобрысых мальчуганов купалась на отмели впереди волов; подходили к реке бабы с ведрами и брали воду, шум-



*Часов в одиннадцать утра к воде на тырло
пригоняли скот...*

но отгоняя животных; тут же на большой голый коряге колотили вальками белье.

У берега дальше чернели узенькие челноки рыболовов, и, похожие на прозрачные тени великанов, размахивающих руками, развешаны были сушиться на тонких шестах вентеря.

Иногда по реке плыли плоты строевого леса, – это монахи строили церковь в селе

Пришибе, верстах в пяти от Татьянаовки.

Плоты двигались медленно, чуть заметно, идя на буксире у большой монастырской лодки.

В лодке гребли двое мужиков в белых рубахах, а на бревнах сидел крепкий на вид рыжий монах и пел жирным землистым голосом духовные песни. «Ты бо еси, неискусомужняя дево, имела еси во утробе над всеми бо-о-о-га», – выкручивал он из себя негибкие, корявые, как дубовые корни, звуки. Но гребцам было трудно продвигать вперед тяжелый лес с тяжелым монахом, и от озлобления они ругали монаха и просили его замолчать.

На той стороне, на лесной поляне, арендованной у графа зажиточным мужиком Ильею Дудкой, разбита была бахча, и оттуда часто было слышно, как Дудка бьет свою жену.

Жена его бегала с распущенными воло-

сами по берегу, а за ней то с веревкой, то с палкой гонялся Дудка.

Избитая им на берегу, она бросалась в воду и, забравшись по грудь, выла оттуда высоким плачущим голосом: «Ой, ненька моя, вин мене втопить! Ой, лишечко, втопить!..» А он ругался и грозил ей кулаками.

В стороне от сада, влево, чернелся перевоз и ходила от берега на берег, из Татьяновки в Неижмаково, старая лодка.

Лодка была одна на два берега, и целый день то с той, то с другой стороны неслись и будили реку зычные ленивые крики:

– Эге-гей! А подайте лодку!.. Подай лодку!..

Иногда кричали долго – час, два...

По утрам на отмелях бегали и свистали поджарые кулички; по вечерам с лесных озер тянулись большие стаи диких уток.

Охота в графских лесах воспрещалась,

поэтому дичи водилось много, а около псарни был большой парк, где бродили олени, дикие козы, фазаны, часть которых ежегодно убивалась на больших графских охотах.

Иногда по вечерам слышно было, как были и лаяли разноголосым концертом двести борзых на графской псарне. Им отвечали воем и лаем татьяновские собаки, этих последних глухо поддерживали собаки из Неижмакова.

Перекличка затягивалась далеко за полночь, и тогда Шевардину казалось, что люди здесь, сбившись в низкие, темные, зловонные избы, живут и мучатся только затем, чтобы можно было на свободе оглушительно выть по ночам двумстам борзым на графской псарне.

VI

В версте от Татьяновки, в лесу на просеке притаился Баринов хутор, небольшой хутор в пятнадцать – двадцать дворов, заселенный потомками немногочисленных крепостных первого графа, привезенных им в огромное имение невесты с севера, из столицы. Они жили здесь особняком, их называли «кацапами» и смеялись над тем, как они одеваются, ходят и говорят в нос.

Через Баринов хутор Шевардин проходил как-то утром.

Утро было серенькое, подслеповатое, как близорукие глаза.

На небе все стояли какие-то задумчивые дымчатые облака, чуть заметно развивались, свивались и медленно двигались к горизонту, точно старинные свитки, которые внимательно читал кто-то великий и

невидный.

Дорога шла мимо огородов татьяновцев, потом лесом.

На огородах высокими рядами цвели подсолнухи. Ярко-желтые головы их, поднимаясь от земли, искали на небе солнца, но оно пряталось от них за свитками облаков, точно отдыхало на них больное, и досадливо шурилось вниз.

На лесной опушке белыми пятнами вкропились в темную зелень молодые тополи, и издали было видно, как безостановочно дрожали их чуткие листья.

Но лес вдоль дороги молчал.

В глубокой бездне его ветвей было много замкнутой тайны, уходящей вдаль.

Там, где сходились синие тени, внизу у корней, казалось, крадучись шли куда-то тонкие стволы, шли тихо, прячась один за другого, и пропадали в глубине.

Узкая, ровная дорога вонзалась в лес

острой стрелой.

Дымили избы; пахло навозом. Грязная курносая баба загоняла во двор с улицы грязного поросенка, и бегала за ним, и швыряла в него комьями земли и палками. Поросенок визжал, и визжала баба, и с обеих сторон улицы смотрели на них серые низкие рубленые избы, похожие на почерневшие от дождей гнилые копны.

Со стороны гумен доносилась песня, пели девки хором, пели теми страшными голосами, в которых нет музыки, а есть отслоившаяся боль, и вой ветра в трубе, и режущий скрип ножа по стеклу. И слова песни были какие-то страшные, не то новые, не то старые, но все назойливые и пустые:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила,
А Ленка в аптеку побегла,
Отраву себе приняла.

Точно зеленовато-темные сырые пятна по белой стене, расплзались эти слова в крикливой оболочке напева по тихому воздуху и бороздили его, крупно мелькая перед глазами.

А какой-то худой мужик, босой, в расстегнутой рубахе, с тонкой, длинной палкой в руке, шагал, длинноволосый, в конце улицы, и за ним бежали маленькие ребята, надоедливые, как мошкара, и, подпрыгивая, звонко кричали:

– Родя, а Родя! На копеечку!..

Родя оборачивался и махал на них палкой. Ребята шумно рассыпались, потом собирались снова, как ласточки за копчиком, и снова кричали:

– Родя, Родя, на копеечку!

Когда Шевардин поровнялся с ними, Родя подбежал к нему, улыбающийся и блаженный, и суетливо заговорил:

– Ивану Петрову в Студенок сбегал,

копейку дал – раз, кривому Финогену лошадей в ночное отвел, копейку дал – два... Это сколько будет?

– Две будет, – ответил Шевардин.

– Две будет?.. Да Семижениха теперь в Киев к угодничкам посылает за мужа помолиться, тридцать копеек дает, – это сколько будет?

От хутора до Киева было больше тысячи верст. Тело Роди было длинное и слабое, как речная трава. Жадной толпой стояли ребяташки. С гумен неслась прежняя страшная песня:

Дунька капусту поела,
Танька рассол попила...

И разлегшийся во все стороны под близоруким небом молчал лес, как преступно молчит чужой при виде чужого горя.

VII

Был конец июля. Вечерело.

Батрак и кухарка о. Мефодия скосили и убрали траву в копны, и в саду Шевардина стало просторней и светлее.

Бледно-зеленые пахучие копны домовито и серьезно глядели из-за черных дуплистых стволов, а из-за копен видны были охмеленные плетни, пухлая от пыли дорога, светлая полоса реки и темный фон леса.

Поспевали вишни. Из бурых кожистых листьев они высыпали по утрам любопытными толпами все новые, ярко-рубиновые, мягкие на вид, и тонкие ветки низко гнулись под их тяжестью.

Пахло яблоками. Незаметно наливались они, круглые и сочные, на корявых, с виду сухих ветках, а около них по-прежнему густо и тепло, точно кипела вода, гудели

пчелы.

И в тон пчелиному гуденью около шалаша Шевардина гудел простуженный хриплый голос:

– Ну, не уьем ни качки, так что мы... Ведь само собой, не ради интереса... Может, горлинок где захватим, – и то хлеб...

Это писарь, Яков Трофимыч, приглашал Шевардина на охоту.

И по его унылой фигуре с обвисшими, точно намокшими, рыжими усами, и по штиблетам на ногах, и по тому, как прилажена была за его спиной старенькая одностволка, видно было, что он действительно не охотник.

Около него терся исхудалый лягаш, ловил на его брюках мух, ляская зубами, и шумно чесался за ухом задней ногой.

Шевардину было скучно. Утром он получил письмо от одного своего товарища, Терновского, пристроившегося на планта-

циях большого сахарного завода.

Терновский писал, что у них на заводе бывают вечера, жаркие споры, есть библиотека; что он занимает хорошее место и ждет прибавки жалованья; что у него есть уже невеста, чудная, как все невесты; и свадьба назначена в октябре.

От нахлынувшего на него чужого счастья ему самому захотелось движения, шума, больше всего – движения, чтобы утопить в нем поднявшуюся силу. И он пошел.

Они шли чахлыми крестьянскими полями, по межам, пропитанным тяжелым запахом пыльной полыни и лебеды.

Рожь уже убрали, и на том месте, где она была, жесткой щетиной торчала стерня. По ней вдали черными точками бродили грачи и галки. Плоско было, сонно и глухо. Казалось, что что-то повисло между землей и небом, от чего тяжело было

дышать.

Шевардин уже присмотрелся к писарю, к его высокой сутулой фигуре, к надвинутой на глаза серой фуражке, к потертому пиджаку и длинным рукам; и не коробил уже его хриповатый голос, которым Яков Трофимыч жаловался на судьбу:

– Четверо детишек подрастает, надо их учить, а где учить – вопрос... У нас в Татьяновке никакого училища нет, не заслужили, а в Неижмакове, конечно, монастырская школа... Не одобряют их, монахов, говорят, больно бьют, и наука там больше такая, говорят, церковная: больше все ирмосы поют, псалтырь читают...

– А земство? – хмуро перебил Шевардин.

– Земство у нас есть, как же... Есть, есть, – заторопился писарь. – Не занимают они как-то этим... Живем, никого не видим, никакого начальства... Только ког-

да становой осенью приедет подати собирать... Земский начальник у нас Кипайтуло, Дмитрий Егорыч, молодой человек, но строгий, ужас какой... из военных.

Оттого, что у писаря был такой глухой и ровный голос, простые слова его казались Шевардину замысловатыми и вязкими.

Рыжий лягаш, взмахивая длинными ушами, как крыльями, неловкими скачками носился по стерне и спугивал грачей и галок.

Над горизонтом проползала туча, и оттого даль казалась темной, близкой, фиолетовой, и, освещенные солнцем, четко рисовались на ней одинокие блестящие желтые колосья.

– Вон косячки какие, – остановился на узкой полоске писарь, – считается это пятнадцать сажень, полдесятины, значит, надел... Ну, какой это надел? С чего тут взяться?..

Узкие полоски разбегались вдаль, пересекались и спутывались, точно закружившаяся на одном месте куча чумазных белоголовых ребят, маленьких и плаксивых.

– Темень, – продолжал писарь, – темень несусветная... Вот послезавтра Пантелеймона память, двадцать седьмого числа, и обязательно у кого-нибудь пожар случится, без этого уж нельзя... Строго празднуют, работы никто никакой: «А то він підпале!..» И выдумают, что Пантелеймон их подпалит!.. Ну, конечно, находятся такие, что по злобе кто на кого, или еще там что, и пользуются случаем – поджигают... Посты у нас строго блюдут. У нас в пост бабы грудным ребятам молока не дают: «Хай привыка...» Соску из разной чепухи сделают и суют...

В стороне от них с кочковатой межи поднялся ястреб и полетел, большой и спокойный, над самыми полями.

Писарь неловко вскинул ружье и выстрелил. Ястреб шарахнулся вбок и взмыл кверху.

– Должно, ранил, – присмотрелся из-под руки писарь. – Ружьишко у меня дрянное, легкораика; и попадешь – не убьешь... А птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так... А видимость есть, что ранил...

Ястреб уже поднялся так высоко, что казался только черной изгибистой полоской, а писарь все смотрел вверх. Прыгал и встревоженно лаял далеко на стерне его лягаш, потерявший из виду добычу.

Потом пошли по узкой лощине, заросшей мелкими кустами и отведенной под попас. По ней прыгало несколько тощих лошадей со спутанными ногами.

Солнце садилось, и на траву легли оранжево-розовые тона. Видно было, как они холодели, синели, седели... Потом по-

гасло все, что еще блестело, и потух крест, горевший на высокой монастырской колокольне.

Тихо стало, и среди тишины и пустоты загудел вдруг глухой шепот писаря:

– А скажите, пожалуйста, может, вы слышали, – говорили у нас так, про себя, – будто одно высокопоставленное лицо... только вы уж, пожалуйста, этого никому не передавайте, это мы про себя, так... да... будто высокопоставленное лицо сказало, что народ у нас как в загоне живет, что он и пьет и на преступление идет единственно от темноты, что ему если бы образование настоящее, не узнать бы его, – только что не дают... Высокопоставленное лицо будто говорило...

Кругом было чистое поле, тихое и сонное, а глухой шепот писаря звучал испуганно и точно откуда-то снизу, из земли; и столько подавленности и страха было в его

мигающих глазках и сутулой тонкой фигуре, что Шевардин захохотал.

Он сел на кочку, опустив ружье между коленями, и смех его был нервный и злобный и пугал Якова Трофимыча.

– Что вы? – тихо и встревоженно спрашивал Яков Трофимыч.

А Шевардин хохотал и обидно ругался сквозь смех.

Домой они шли молча.

То, что называется сумерками, более легкое, чем воздух, реяло в воздухе неслышно, сплошно и густо, и предметы под ним становились мягкими и широкими, как крылья ночных птиц.

На стерне осела роса. Меланхолически кричали перепела вдали. С реки чуть заметно пахло цветнем и тиной...

Когда часам к десяти Шевардин пришел в свой сад, он нашел там полный погром.

Около одной скороспелки валялись колья из плетня, обитые яблоки, листья; вишенник был наскоро обобран и ветки поломаны; в дальних углах слышны были поспешно убегающие шуршащие шаги и сухой треск плетня на перелазах.

VIII

На Пантелеймона, в ночь, в Татьяновке был пожар и сгорело пять дворов.

Был на пожаре и Шевардин, и слышал, как глухим ревом ревели бабы, и видел, как тушили мужики.

На Преображенье в монастыре из года в год велась ярмарка, и он поехал туда с возом грушовки и бели.

В саду оставил работника о. Мефодия, и о. Мефодий взял за это двугривенный.

Хороша была дорога в монастырь, сначала над рекою, потом выше, сосновым

лесом. Воздух в лесу был застоявшийся, сухой и густо смолистый, точно накадил кто-то. Скрипел воз. Маленькая, но серьезная лошаденка деловито везла в гору, выпячивая из кожи каждый мускул, в такт шагу мотая головой и фыркая.

Шевардин шел сзади хозяином и постукивал палкой по встречавшимся огромным соснам, искал над собой их верхушки и оценивал их глазами.

Он знал уже, что это был графский лес и что его ежегодно, обходя законы о порубках, все больше и больше сводили, чтобы расплачиваться за жизнь графа за границей. Огромные деревья смотрели на него, как приговоренные к смерти.

С горы в просвет дороги видна была светлая, изгибистая полоса реки, озера, деревни и лес до горизонта.

Солнце садилось сзади за горой, и даль поспешно заволакивалась туманом густо-



С горы в просвет дороги видна была светлая, изгибистая полоса реки, озера, деревни и лес до горизонта фиолетовых тонов и, огромная, но бесплотная, казалась совсем другим миром, точно земля тихо улыбнулась на этом месте и ушла вниз, а в воздухе еще млела ее улыбка.

Монастырь просвечивал сквозь розо-

вые стволы белыми стенами своих гостиниц и главами церквей, и видно было уже, что гнездо, свитое монахами на меловом скате среди леса, – прочное гнездо.

Начался монастырский лес, – показались межевые столбы, иконки на поворотах, плетни, заборы.

Крутым спуском, еле сдерживая лошадь, пришлось сползать вниз перед толстой каменной оградой. Навстречу ехал с пустой телегой на дебелой вороной лошади монах и кричал:

– Держи права!.. Тебе говорят, права держи!

А поровнявшись, он любезно раскланялся и спросил:

– Яблочки к нам везете? По запаху-то слышно... Откуда изволите?..

Шевардин стал со своим возом за рекою, переехав для этого мост, запруженный народом.

Много было народу и много возов. В балаганах уже бойко торговали краснорядцы, выкрикивали, спорили и ругались.

Гудели колокола. С высоты мелового откоса и колокольни шумливые, круглые звуки сочно и красочно вливались в воздух, и один за другим, точно невидные большие птицы, проносились вдаль и тонули там в фиолетовых тонах заката.

На побледневшем над горою небе, между тонкими четкими соснами, высился строгий силуэт монастырской часовни.

Ниже под ним белела старая меловая церковь, и от нее вниз вела длинная раскидистая лестница, а дальше, вправо, в лесу чуть виднелся скит.

В реке отражался весь монастырь с огромными домами гостиниц и церквями. Река была спокойна, и спокойны и ясны были отражения, и дышало от них миром и тайною, и вспоминался заколдованный



*В реке отражался весь монастырь с огромными
домами гостиниц и церквями*

город Китеж, погребенный под водой в те времена, когда незыблемо верили в святость попов, колоколов и церковных оград.

А вокруг огромными, серыми гудящими толпами двигался народ, и глаза его были широки и голодны, и покорял его строгий вид белых громад, построенных не им, но на его поте.

Вместе с толпой к монастырю через

мост шли и ехали на тележках нищие.

Шевардин никогда не думал, чтобы так много и таких разнообразных нищих могло скопиться на одном месте. Но видно было, что к ярмарке многие из них сошлись издалека, и, одетые в лохмотья, с выставленными напоказ култышками рук и ног, старые, слепые, гнусавые, воплощенным косноязычным воплем они двигались в толпе – половина толпы.

И нищие давали нищим.

Корявые, засушенные работой бабы развязывали узелки платков и вынимали оттуда грязную медь.

И все вместе рядом, темные и убогие, шли они, как к последнему оплоту, к высоким и богатым каменным домам и к горделиво поднявшимся в небо церковным главам.

И опять Шевардину показалось, что это он видел когда-то очень давно, или

слышал, или все это старая сказка старой няньки, такой же убогой, такой же нищей, такой же слепой.

Воз его с отпряженной лошадейю и поднятыми оглоблями стоял в стороне под старыми вязами, но и здесь его нашли монахи и взяли за место.

А следом за ними подошел здоровенный звериного вида бородатый малый, с огромными загорелыми руками, похожими на два висячих самовара, и попросил на хлеб.

– Тебе на хлеб? – озадачился Шевардин.

– Да ты быка ручищами убить можешь!

– Жену убил, точно... – мрачно подтвердил бородач. – Быков не пробовал, а жену убил... Теперь по церковному покаянию хожу.

– За что убил? – глухо спросил Шевардин.

– На месте преступления с любовни-

ком застал. И ее убил и любовника убил...
Обоих убил! – ровно и четко, точно прочитал молитву, отрубил бородач.

Глаза у него были маленькие, неподвижные и правдивые, как у зверя. И Шевардин почувствовал, что такой мог убить, и дал, чтобы не видеть огромных рук, и босых ног, и звериного взгляда.

Ночь была месячная и теплая. В реке, захлебываясь, квакали лягушки; кое-где на берегу пели пьяные, и молчал монастырь.

Шевардин лежал на своем возу, упершись глазами в звезды, и чувствовал, как от скопившейся около нищей толпы на земле тесно и как тесно на небе от скопившихся звезд; и теснил его душу недоуменный тупой вопрос: кто это, огромный и могучий, так устроил жизнь, что отвел человеку слишком мало «можно» и слишком много «нельзя», и почему человек этому поверил

и возвел это в культ, как святыню?

Утром, на рассвете, колокола зазвонили к заутрене, и зашевелилась толпа.

Над рекой еще ползал синеватый туман, и казалось, что вода дымится и закипает снизу.

Ярмарочная площадь запестрела будками, палатками, балаганами и возами, а монастырь за рекою, закутанный около земли в туман и потому казавшийся в воздухе, звонил о бесплотном боге.

Шевардин стоял около своего воза и ждал покупателей.

Они подходили и проходили мимо, все с такими захудалыми лицами, некрасивые, приземистые, как корявые пеньки. А когда они покупали, то долго и исступленно торговались, божились, отходили, подходили снова и снова божились.

Буравили толпу разносчики, и звонкие голоса их высоко, точно испуганные,

взвивались из общего гула.

Подъезжали на извозчиках богомольцы из города – все больше сытые купцы и женщины в старомодных шляпках, запыленные и усталые от дальней дороги. Дребезжали бубенчики на сухопарых лошадях, и стучали по мосту копыта.

Толпа раздавалась перед экипажами и вслед им пускала тонкие шпильки:

– Что значит – богатым везде лафа: и к богу-то в гости в фаэтонах едут.

Как зыбь на воде, из уст в уста разносилась весть, что ночью увели лошадей у двух неижмаковцев. Кто увел, как всегда, было неизвестно: намекали на приезжих, с которыми неижмаковцы вчера побратались, пили водку и пели.

Чем позднее становилось, тем больше было пьяных; и около возов и балаганов и около монастырских гостиниц они бродили, буйные и крикливые, и земля смея-

лась над ними и спихивала их то вправо, то влево. И чисто и широко было вверху, в небе, а толпа, сбившись клином на тесной площади перед монастырем, была узка и грязна, и было что-то жалкое и жуткое в том, как она веселилась.

А за монастырской стеной молились о благоденствии и процветании святых божиих церквей и соединении всех.

Но слова молитв были только колебанием воздуха.

Домой Шевардин ехал тою же дорогой, через монастырский и потом графский лес, но огромные сосны и широкий размах дали внизу уже смотрели на него как что-то чужое и враждебное, как что-то такое, что упало сверху на жизнь заколдованным кругом и мешало жить.

Смолистый воздух, нагретый и пахучий, был тот же воздух, что и вчера, но в нем было душно.

И маленькая саврасая кляча так же старательно выпячивала из-под изъеденной оводами шкуры свои дряблые мышцы и острые кости, а Шевардину хотелось схватить толстый кол и бить и бить ее до изнеможения и потери сознания, как ходячее воплощение всего рабского, убогого и нищего, как живое сборище всех маленьких «можно» и бесконечного «нельзя».

IX

Была молчаливая ночь и светлая, точно глядящая отовсюду.

Шевардину не хотелось спать.

Он вышел из сада, обогнул угол села и пошел вдоль берега.

Берег был обрывистый, сплошь покрытый серебристым лопушником, мокрым от росы. Под ногами Шевардина лопушник ломался и шуршал, хрупкий и сухой,

как камыш зимою. Снизу в стены берега узкими и частыми заливами вползла река и цепко держалась там, черная и жуткая вблизи, ярко-блестящая от месяца, веселая – на середине.

Ночь выпила из земли и унесла в небо кричащие дневные краски, и оттого земля стала легкой и серой, и даль земли нельзя было отделить от дали неба.

Около лесной опушки, там, где днем были видны развешанные на кольях вентера, похожие на великанов, чернели на воде два узких челнока, на берегу две рыбачьи фигуры.

Шевардин знал их обоих; одного – Семена Драного, другого – Онисима Батрака, из Баринова хутора: случалось покупать у них рыбу.

Они ехали вместе, как два речных волка, и при месячном свете были похожи один на другого, с обвисшими, точно при-

хлопнутыми сверху, старыми картузами, с венками волос из-под них, долгобородые, как рыбаки из Галилеи.

Шевардин остановился и наклонился вниз.

– Никак ловить едете? – спросил он вполголоса и услышал, что для этой ночи сказано было слишком громко: ночь встревоженно подхватила его слова и разнесла их далеко над водою.

Старики обернулись.

– Это кто?.. Садовник, кажись? – прищелкнул к нему Онисим.

– Во-во... Он самый, – отозвался Шевардин.

Река пахнула на него едким запахом тины, застоявшимся в заливе и поднятым челноками.

– Мы – ночные птицы, каждую ночь едим, нам не в диковинку, – прожужжал снизу старый голос Драного. – А ты чего

ходишь?

– Так... Не спится, – бросил вниз Шевардин.

– Не спится, не ложится, и сон не берет?..

– Плохо твое дело... Девку тебе надо, – решил вопрос Онисим.

Корявые руки их не спеша сматывали вентера и складывали их горкой на носу челноков, и видно было, как свесились в воду с бортов белесые сухие сети с кольцами из бересты.

– Без девок-то обойдемся, – отшутился Шевардин.

– Монашком, значит, живешь?! Ишь ты... – Онисим засмеялся. – А ноне и монахи пошли такие – пальца им в рот не кладут... В Неижмакове вон целая улица отстроилась – все монаховы женки живут... Так и улицу зовут – «Монахова», право... А ты: «без девок»! Без них, видно, и в свя-

тые не попадешь...

Смотали последний вентерь.

Онисим потрогал рукой свой челнок и сдвинул его с мелководья. Семен вылил ковшом воду из своего и тоже двинул.

Запах тины плеснул в берег густой и плотной волной и прошел вдаль, тяжелый и острый.

– А что, старики, меня с собой не захватите? – спустился Шевардин вниз к челнокам.

От веселой реки, и лучей месяца, и сквозной дали не хотелось идти в темный шалаш.

– Куда захватить-то? Кабы лодки... – глухо прошелестел Семен Дранный.

– В челноке не разгуляешься... Тут большая сторожка нужна вдвоем ездить: чуть что – и плыви! – отозвался веселым баском Онисим и хитро добавил: – А табаком угостишь?.. Угостишь, тогда посажу.

– Сколько угодно, – обрадовался Шевардин, доставая табак из кармана.

– У него-то, у Онисима, можно, челнок хозяйский, вместительный, ну, у меня, прямо сказать, душегубка, у меня никаким манером вдвоем нельзя... И течет, – видишь, воду выливал...

Семен взял в руки весло и, высоко подымая ноги, вошел в свою посудину.

– То-то и оно-то, что ты – Дранный! Кабы ты настоящий мужик был, а то дранный, какой в тебе толк? – весело шутил Онисим, на свету скручивая из бумаги сигарку.

– Тебя не драли, вот ты и не Дранный, а тебя бы схватили, ты был бы Дранный... Такой случай... – безобидно отозвался Семен.

– Это хоть, положим, верно... Что верно, то верно, такой случай, – согласился Онисим.

И они поплыли вместе.

Там, где блестящими, кованными из света пятнами упали в воду лучи месяца, плавными толчками двигались вперед легкие и черные острые челноки.

Лес по бокам реки молчал, река тоже молчала, говорили только носы челноков с водою, тихо, невнятно и влажно, и вполголоса, но громко для такой прозрачной ночи говорил Онисим Шевардину:

– Рыба, она ведь тоже не зря по всей реке ходит: она свое место знает, – прямо слободами живет, как люди... Правда истинная, свое место завсегда знает. Мы уж сколько лет рыбачим: здесь сула такая, например, а здесь – другая, на спине полоса темнее. Здесь вот, в этом месте, где дубки, – коряги на дне, – здесь сазан; такой тебе сазан несметный, не выловишь! И здоровый, стерва! На крючок попадетса, если струмент плохой, слабый, значит, все чисто порвет и уйдет... Прямо как боров!

За дубками – там вырезуб по верху ходит. Этот ни за что на удочку не попадается, ходит и ходит, мелочью, сенгавками питается... Тоже не кое-как, свое место тоже знает... А если чабака хочешь пымать, этому принаду нужно... Хоть чабаку, хоть сазану обязательно принаду, без этого не пойдет. Он в глубли, посередке ходит... Вот ежель пустить гарца два жита пареного, так от середки да к берегу полосой, с вечера принадить, а утром притить – отбою не будет! Все крючки и лески порвет! Ежель дорогие – не порвет, а такие, простые, – все чисто порвет, приходи, кума, радоваться...

Вода журчала под челноками, и светлые пятна дробились сзади их в длинные искристые цепи.

В свете месяца молчаливо ехавший стороной Драный, серебристый по краям рубахи и картуза, казался таинственным и многодумным и был похож на большую

осторожную птицу, готовую ежеминутно нырнуть в воду.

Впереди, издалека видная, светлолистая ветла окунулась с берега в воду, точно припала пить, да так и застыла.

– Вон это место видишь? – кивнул на нее Онисим. – Это место – сомовое, тут омота скрозь, тут сом... Не так давно с кобылу сомов вытаскивали, по пуду зебры одни... Теперь уж таких нет, ну, тоже здоровые попадаются.

– А за что Семена секли? – вдруг громко перебил Шевардин, и свои же собственные слова вдруг показались ему лишними и жесткими для такой тишины и такой бесплотной дали.

– Семена-то? – Онисим обернулся к Семену и крикнул: – Семен! За что тебя драли, спрашивает?

– Ладно, за что... – буркнул сзади Семен.

И все замолчали.

Над водой неровно трепетали, гоняясь за лодкой, то появляясь, то исчезая, маленькие летучие мыши.

Черный лес слева казался только траурной рамкой для залитого лунным светом белого леса справа.

Где-то впереди, должно быть, в мелком заливе, слышно было, щекотали в тине носами и тихо крякали дикие утки.

– Драли его за то: не бунтуй, – заговорил, закуривая новую сигарку, Онисим. – Бунтовщик он у нас оказался, пошел черкесов бить... За то его и драли... Тут такое дело было, куды! И черкесы наших побили, и наши черкесов побили, а драли только наших, – каких сослали, какие в острогу сидели. Генерал Грабин приезжал, значит, чтобы усмирять это дело... Приехал он, конечно, с удочками, складные такие, с колечками, в ящике их привез... Охотник

до этого был, а у нас река, она известная, рыбная... Нужно только места показать, а к кому оборотиться? Ну, становой меня же знает, постоянно рыбу ему вожу, сейчас ко мне... Так я, значит, и остался здоров и невредим.

– То-то и дело... Простой это случай такой, – ввернул Семен.

– Не иначе, как случай! До меня уж урядник добирался, да шиша взял. Генерал это мне: «Ну, говорит, рыбак, будет у тебя улов, будет тебе обнова». Ладно, говорю, постараемся. Вынесли это для них ковры на берег, удочки мне дали... Лески богатые были: двадцать пять аршин леска одна. Посмотрел я на грузила, – эх, грузила не по-моему, – дай-ка перевяжу. Перевязал... Глядь, на середке шереспер бултыхнулся... А, думаю, ладно! Насадил и на то самое место как жарну! Как струна леска легла. Генерал так даже присел

с удивлением. «Ну, говорит, рыбак! Сроду такого не видал, – как струна леска легла! Когда-то, говорит, рыба будет». А рыбу, говорю, ваше превосходительство, тянуть надо. Сразу это взялось и удилище гнет! Ухватились они вместе, генерал с дочерью, тянут-пыхтят, утомились, насилу к берегу подвели: двенадцать фунтов вытянули. Куда его такого девать? В кулек не лезет; в ковер завернули: солдаты понесли, как упокойника... Генерал мне бумажку свернул, – на! Думал я – рубль, а десять рублей оказалось... Так я на этом бунту еще и десятку заработал... Дела!

– А будь бы иначе, его бы драли, – опять вставил Семен.

– Это что и говорить! – живо подхватил Онисим. – Потому – урядник на меня зол, а зол, что ему в рыбе не уважаю... Он бы меня не то что драть, – и сейчас бы я в Сибири сидел: сказал бы – зачинщик, и

крышка. Нешто нам поверят? Ему поверят, потому что – власть, а мы что?.. Опять же и то сказать: в рыбе уважить! Мы-то за нее нешто денег не плотим? Полтораста рублей мы за реку графу плотим, а за озеро особенно. Как тут уважить? Еле-еле свои деньги выгонишь. А мокнем-то? А ночей-то не спим? Посчитай-ка по совести...

От реки вверх подымались свежие, чуть видные полосы тумана.

Легкие весла челноков враз опускались в воду, и с каждым взмахом их челноки бросали за собою две сажени реки.

– Да вы далеко едете? – спросил Шевардин.

– Ага! Напросился, теперь посиди, – засмеялся Онисим.

– Верст за шесть поедем, за Пришиб. Теперь-то скоро, – прогудел сбоку Семен.

– Рыбы – ее и здесь много, да не возьмешь нипочем, – оглянулся кругом Они-

сим. – Дубье внизу лежит, такое дубье на дне, прямо столетнее... Сколько сетей об него изорвали, – не возьмешь, как в крепости. Удочками здесь ловить, это так, удочками сколько хочешь... Ну, конечно, не прежние года, это и говорить нечего. Что старики нам говорили да что теперь стало – и звания того нет.

Онисим говорил, и хлопали по воде весла.

Прозрачный и легкий, полный лунных лучей воздух, округленный тишиною, проходил через все тело Шевардина и делал его таким же прозрачным, таким же легким, таким же тихим, но сбоку его, как черная осторожная ночная птица, плыл на узком челноке Семен Дранный, и в тишине чудился его замогильный голос, съедающий тишину, и черным пятном на прозрачный воздух ложилась его согнутая спина и съедала прозрачность.

– Как уезжал генерал, – говорил Онисим, – обещал петербургский подарок прислать. Я уж знаю, что это – петербургский подарок: это сто рублей у них называется. Конечно, богатому человеку, что ему сто рублей? Он и тыщу даст за удовольствие. Вот, думаю, поправлюсь; избу покрою, землю сыму, – все честь честью. Месяц жду – нет... Два – нет... Почитай, полгода прошло, – призывает меня становой пристав. – На, говорит, получай, двадцать рублей тебе генерал прислал. – Восемьдесят, значит, зажил. Что ж, наше дело телячье, – пожевал да в хлев, спорить не станешь... Начальство – его и воля... Восемьдесят рубликов, значит, на его пай пришлось: потрудился, конечно, мужику двадцать передамши... все-таки забота.

Огромная ночь кругом была светла и беззвучна, и Шевардин чувствовал, как в нее, большую, маленькими мутными ка-

плями падали слова мужика.

А за челноками струились яркие пятна света на черной волне, такие яркие, такие едкие, точно река насмешливо мигала глазами.

Х

С вечера падал редкий, но крупный дождь, к ночи он перестал, только небо сплошь обложилось тучами и захлопнуло землю, как крышка гроб.

Слабо качались верхушки яблонь, потом затихли, и черная ночь стала немой.

В шалаше было душно, и Шевардин не спал. Забившиеся от дождя в шалаш комары хищно пели над самым ухом, тонкие и острые в широкой темноте, как блестящие иглы. Пахло лежалыми яблоками и черным хлебом.

Шевардин не спал, но то, что напол-

няло его днем, плыло теперь перед ним, растягиваясь и сплетаясь в бесформенные пестрые полотна.

Он, с детства привыкший к земле, боготворил землю. Великая дающая сила земли покоряла его в каждом зеленом листе, в каждой тонкой былинке. Он по целым часам мог наблюдать, как завивались около сучьев гибкие усики хмеля, точно осмысленно тянулись к ним издалека, снизу, и как, укрепившись на одном сучке, тонкая зеленая веточка шла выше и усики ее искали новый сучок.

Он понимал и мягкий зеленый мох, робко гнездящийся на старых стволах, там, где извивы коры глубоки, как людские морщины.

И черная, свежевспаханная земля не была для него беззвучной: она была как лицо, полное притаившейся скрытой работы и вот-вот готовое блеснуть яркой

мыслью в наряде красивых слов.

И, любя землю, он привык думать, что земля любит его.

Но то, что он видел здесь, было для него новым и обидным: огромная земля кругом смотрела на него враждебно и тупо, как тяжелая каменная голова с надменной складкой бровей. Земля эта была высокая, чужая и пустая, а в провалах ее, где-то в глубоких и узких трещинах, жили люди, хотели подняться, подставляя друг другу плечи, но обрывались и падали, и были темны и были нищи.

Огромной и пустой землей владел, неизвестно почему, один человек, такой же, как те люди внизу, но не любивший земли и живущий где-то вдали. И там, где он не знал, что делать с огромной землей, в глубоких трещинах от тесноты задыхались люди.

А в это время тот, кто владел огромной

землею, окутывал тела дорогих продажных женщин мачтовыми соснами своего майората и приезжал сюда только послушать, как трубят охотничьи рога в его лесах.

Над ухом Шевардина неотступно и громко, как в охотничьи рога, трубили комары, точно хотели напеть: так и будет, и будет, и будет.

В волны идущей внизу сырой плесени вливался запах гнилых яблок и черного хлеба. Черная ночь за дверью была немой.

Шевардин не представлял себе графа как человека: он был для него безличной тяжестью, давившей плечи, как ненужный, но тяжелый мешок, который хочется сбросить наземь, чтобы свободно вздохнуть. Он был для него тяжестью, давившей звуки, дождем, смывавшим краски, стеною, заслонившей даль.



Граф Георгий Иванович Рибоцьер (1854-1916)

Шевардин вспомнил небо, каким оно было перед вечером, насыщенное синим до черноты, с седыми кудрями вверху. Седые кудри были седые брови над хмурым, огромным, пугающим глазом, – и веселые краски поспешно сбегали с земли, и побледнели и стихли звуки, и заплакала даль.

Таким был граф.

И весь он был маленький и далекий, весь он был надоедливо ненужный, как гуденье комаров, весь он был незаметный, как точка на белой стене, и всем кругом он мешал жить.

Шевардин любил землю, как полнуюзвучную красоту, как великую мощь, как воплощенную сказку; любил землю днем, любил ночью; любил ее в ризе солнечных лучей и под фатой дождя; любил ее с раннего детства, когда проводил в лесу под Новгород-Северском лето за летом.

То, что он ясно помнил из детства, было сплошное море цветущей черемухи, белой, точно морская пена, пахучей и полной сверху донизу свистов и раскатов: это соловьи пели под ее сводами.

Обвивая сетями белые кусты, он сам загонял на заре и ловил серых большеглазых певунов и помнил, какие трепещущие были у них сердца, когда он вынимал их из сети.

Но он не мог тогда отделить соловьев от черемухи: это не они пели в лесу, это лес был живой и пел. Здесь же, за рекою, огромный, сорокаверстный лес был нем, точно заколдованный, – чужой лес, лес одного человека и слишком большой для одного.

На горе, вправо от сада, за каменной стеной легла экономия графа, а от нее во все стороны, как паутинные нити, бежали через лес проволоки телефона и ездили

черкесы-объездчики по узким лесным дорогам, зоркие и хищные, как пауки, выслеживающие добычу.

И то, как издавна сложилась здесь жизнь, – был произвол; и то, чем и как держалась здесь жизнь, – было рабство.

Шевардин чувствовал что-то знакомое, по мере того как думал: к его широким мышцам подплывало что-то горячее и густое, как желчь, и они набухали и искали дела.

Но когда перед ним, рожденные ночью, замелькали новые, яркие тени, в немой темноте вдруг раздался сухой треск, короткий и слабый.

После него опять долгая, точно испугавшаяся тишина, и новый осторожный треск ближе.

Шевардин поднялся.

«Вор!» – мелькнула догадка.

Он остановился напряженный, хотел

было взять ружье, но взял толстую палку и, когда тихо отворял двери шалаша, услышал, как в дальнем углу сада кто-то осторожно тряс яблоню: шумели листья, и яблоки гулко падали на землю, как резиновые мячи.

Шевардин взгляделся в черную ночь и ничего не увидел; только вверху на мгlistом небе реяли кроны деревьев.

Ощупью, путаясь в ветвях, он прокрался до ближайшего вишенника, обогнул его, наткнулся на дуплистую грушу и пополз по земле в сторону звуков. Земля была влажная, липкая и пахла травой.

Яблоки все падали часто и шумно, ближе и ближе. Кто-то стрясал их по-хозяйски со всех сторон дерева, и слышно было, как они хрустели на земле под чьими-то ногами.

За шумом тот, кто хозяйничал в саду, не слышал, как подполз Шевардин, и когда

чиркнула и зажглась за его спиной спичка, он обернулся и застыл на месте, испуганно мигая глазами.

Это был молодой мужик, остролицый, низенький, с кустистой бородкой, с мешком в левой руке. Несколько мгновений он стоял ошеломленный, потом светлым пятном в темноте кинулся к плетню, натываясь на ветки.

Не отдавая себе отчета, зачем это нужно, Шевардин бросился за ним.

Он настиг его около самого плетня, и они боролись там, тяжело дышащие и безмолвные, как два зверя.

Шевардин чувствовал, как потом и грязью пахло от мужика и какие узкие, жесткие были у него руки, точно куски деревянных брусьев, сбитые на локтях, и слышал, как стучали у него зубы и хрипела грудь.

И когда Шевардин, более сильный, сва-

лил его, он услышал глухой голос, идущий снизу:

– Пусти!

Так много было в этом голосе глубокого провала, что он мгновенно разжал пальцы, впившиеся в костлявые плечи, и встал над ним, высокий и ожидающий.

Вор тоже встал.

Глаза Шевардина освоились с темнотой и теперь почти ясно различали белеющую перед ним рубаху мужика и ловили в воздухе его дыхание, тяжелое и густое.

– Здоровый какой! – с одышкой заговорил мужик. – А говорили – из господ... Из господ, а здоровый... Ешь, должно, вдовсталь?

Нескладные слова, глухие и скрипучие, ударились в Шевардина и упали наземь; а вдогонку за ними поползли другие слова, такие же ненужные:

– Теперь, значит, на съезжую меня по-

ведешь?.. Сделай милость, веди на съезжую... Хоть веди, хоть не веди, все одно...

– Да ты что, пьян, что ли? – крикнул на него Шевардин.

– Пьянай?.. – Мужик помолчал, точно выдавливал откуда-то из себя горечь, и в словах его почудился злой смех. – Только того и пьянай – жена помирает... Только и пьянства – двое суток помирает, а значит, того... и не моги... Ни помереть, ни жисти нет... кричит!

– Больна, что ль? – тихо спросил Шевардин.

– Мочь надорвала! – с силой ответил мужик. – Значит, тяжело подняла по хозяйству, ну, надорвала... Сама, понимаешь, тяжелая была (руки мужика метнулись около живота), а тут ешшо чижельство подняла – и враз... Как легла, так и лежит... Пластом... Душа с телом расстается.

– Черт куцый! – закричал Шевардин.

– Тут акушерку искать нужно, а он в сад лезет... В сад-то зачем лез?

– Это самое... ты постой, – вдруг ухватил его за руку мужик. – Что на меня кричать? И так я убитай... Кушерки-то, ее у нас нету... Значит, бабка есть, а кушерки нету... Бабка, – это наша, значит, Севастьяниха, – возьми ей чего-то и дай... Ну, хуже ей стало, жене-то: кровью зачало рвать... Кричмя-кричит, живот во какой, а пользы нет... Кушерка – она есть, только в Студенке она на заводе, такая, значит, казенная, от земства, а то тут, в Неижмакове, господа на свежий воздух приезжают, ешшо кушерка есть, немка она, значит, вольная... К той я ездил в Студенок, вчера ешшо ездил, ну, говорят, занятая, а сюда пошел до немки, эта не хочет. К ней, конечно, с деньгами надо, а денег-то, их нету...

– А яблоки тут при чем? – не понял Шевардин.

– Это самое... – зашепшил мужик. – Продад бы я их, яблоки-то, да кушерку бы привез.

– Дуб еловый! Да ты бы занял у кого-нибудь рубль, только и всего, – не выдержал Шевардин.

– Просил я... не дает никто... И хозяйство-то у меня плохое, и опять же баба, она... родит, гряд, не тоскуй... баба, гряд, такое дело... родит, боле ничего... значит, время подошло... А время-то, оно не подошло, а это значит – от чижельства.

– Ты откуда сам? – спросил Шевардин.

– Я-то? Я с Баринава... Чичибубин, Леонтий... Так кличут по-деревенски – Чичибубин, а фамилия Марков. Крайняя изба наша... Как из лесу выйтить, так счас изба... так, немудрая изба... Бобыли мы.

Шевардин не видел его глаз, но представлял их ясно: серые, испуганные, далеко ушедшие в глазницы, как затравленные

звери в глубину нор; и представлял он, какие копошились за ними мысли, тяжелые и острые, как камни, которых никак нельзя было вложить в бездушную ткань слов: они прорывались, и падали, и не выходили из головы, а оставались все там, за узкими стенками черепа, и резали и давили мозг.

И это представление его испугало.

– Так вот что, – заговорил он волнуясь. – Дам я тебе рубль, беги за этой немкой в Неижмаково и скажи, что не может она не ехать, когда человек умирает... Так и скажи. Должна она приехать, иначе человек умрет, понял?.. На рубль.

Чичибубин сначала не понял, но потом, когда серебряная монета, белевшая в темноте, коснулась его пальцев, он как-то вскинулся неловко и жалко и упал в ноги.

Было темно и жутко кругом.

Черное небо стиснуло в сонных объятиях черную землю и застыло, а там, где оно

припало к земле, было холодно и мокро от его непересохших недавних слез.

На коленях, тыкаясь сухими губами в широкую руку Шевардина, ползал перед ним Чичибубин и что-то хотел сказать, но выходило мычание.

Шевардин выдернул руку и отшатнулся. Страшно было, что так дешево стоила человеческая жизнь в таком огромном богатом мире, что ночь кругом была так черна, а людское горе так бело и ярко, что в этом мычании внизу было так много задушенных звуков, тяжелых, как земля.

Через минуту черная ночь растворила в себе бежавшего из села Чичибубина, но звуки его шмурыгающих шагов долго еще бороздили тишину, пока не обесцветились пространством и потонули в нем.

Шевардин собрал сбитые яблоки в брошенный мужиком мешок и отнес в шалаш. Яблоки оказались шафраном, еще зеле-

ным и кислым, и вряд ли кто купил бы их у Чичибубина хоть за полтинник.

Представилось, как бежит теперь он один в темноте с крепко зажатым в руке рублем, спотыкается, перескакивает через ухабы, остановится отдохнуть немного и опять побежит. Впереди него, в Неижмакове, – акушерка-немка, позади, в Баринове, – при смерти жена, и между этими двумя полюсами бьется его небойкая мысль, то обгоняет его, то отстает, то бежит с ним рядом. Где-то далеко за границей – граф, где-то еще дальше, высоко над звездами, – бог, в которого твердо верит Чичибубин, как в высшую справедливость. Но от божьих звезд спрятана земля под крышею туч, и в темноте не видно справедливости, не видно несправедливости, не видно даже земли, как не видно неба, – видны только собственные шаги, короткие, спотыкающиеся и частые, и виден клочок до-

роги под этими шагами.

«А что, если никакой жены нет и все это только придумано? И Чичибубина никакого нет, а есть какой-нибудь Печкин, и все это только для того, чтобы разжалобить», — подумал вдруг Шевардин.

Эта случайная мысль больно хлестнула мозг, но, когда Шевардин схоронил ее в себе, на смену явилась новая, такая же острая: «А что, если с рублем в руке Чичибубин теперь вприпрыжку бежит домой и давится в темноте от смеха?»

И эта мысль быстро застыдилась своего ядовитого облика и пропала. Но за ними, как жабы из мокрой канавы, выползали откуда-то со дна души все новые и новые, такие же нелепые и обидные мысли. И, кружась в голове, они разгоняли там сон и, выливаясь наружу, разгоняли темноту ночи.

Шевардин лег было в шалаше, но не

мог заснуть. Опять запахло плесенью и черным хлебом, опять загудели комары, казавшиеся большими и звонкими от тишины ночи.

Шевардин встал, запер шалаш, пробрался между знакомыми деревьями сада, перелез через плетень и утонул в темноте так же, как Чичибубин, только тот шел в Неижмаково, этот – в Бариново.

Дорогу он помнил: обогнуть на отлете стоящую кузницу, миновать огороды татьяновцев и потом все время лесом, полторы-две версты до поляны.

Кузница маячила справа, как большой черный гроб, шаги были громки, точно ковали вперебой два молота, и с огородов похоронно пахло спелой коноплею.

Когда Шевардин шел обратно, напоенная туманом темнота уже сползала с земли, обнажая ближние деревья леса, и небо начинало белеть сквозь черные сучья, и

тихо заговорили листья.

А в мозгу Шевардина, точно выжженная, прочно сидела изба Чичибубина, узкая изба с кривою печью, с лавками вдоль стен, с зеленой лампадкой перед горю темных образов.

Изба была крайняя, без двора, с незапертой дверью, и, когда Шевардин входил в нее, там на одной лавке справа спала старуха, а прямо на другой лавке, головой к образам, жена Чичибубина, с белыми поднятыми ногами, сведенными в коленях, и с обнаженным высоким животом.

Когда Шевардин вошел, только собака где-то за окном залилась лаем, но в избе не шелохнулась старуха; а у больной крупно дрожала нижняя челюсть завалившегося лица, и слышно было мычание и стук зубов.

Глаза ее были закрыты, прядь желтых волос припала ко лбу, руки были сжаты на

груди, ниже сердца, и все тело дергалось в судорогах так сильно, что скрипела лавка...

Великое таинство смерти совершилось при Шевардине. Испуганными глазами он видел, как начало, икая, вытягиваться тело; сначала ноги разжались и легли ровно, одна около другой, так что живот стал еще белее, круглее и выше, потом отошли полукругом с груди и упали руки; в голове еще теплилась жизнь и борьба, – она слабо дергалась, как голова зарезанной птицы, – недолго, и застыла, прижавшись подбородком к шее.

Шевардин положил ей на лоб свою руку, – лоб был холодный и легкий на ощупь.

То, что было живым и думавшим человеком, стало трупом.

Зеленым, насмешливым глазом мигала у образов лампадка, и спала старуха, тихо и задумчиво свистя во сне...

На бледном небе рассвета лес казался одним тысячеруким, и что-то глядело сквозь него мутно, спросонья, точно старалось осмыслить жизнь и не могло.

Шаги Шевардина были тверды и звучны, как камни.

Он шел по майорату и знал это, и знал, что майорат задавил Чичибубина и раздавил вот теперь его жену.

И из-под кусков разорванных, боязливых, летучих мыслей выдвигалась в нем одна круглая и цельная мысль: «Если граф, холостой и бездетный, умрет, то майората не будет».

XI

Бывают в середине августа такие солнечные дни, когда блеску слишком много в воздухе и когда земля точно осыпана осколками битого стекла, и блестят листья

и стволы деревьев, блестит трава, отсвечивает дорога.

Земля вблизи становится шире и ярче, а даль задумчивей и бледнее.

В такие дни хочется смотреть и слушать, и хочется думать о чем-нибудь далеком и сказочном, как хрустальные дворцы.

В саду Шевардина в один из таких дней все было похоже на ярко освещенную церковь, и светлые, желтые ветки яблонь были как свечи.

Откуда-то из лесу налетели в сад молодые синицы, желтогрудые, синекрылые, с черными головками. Они бойко шныряли в переплете ветвей, и целый день с утра слышно было их звонкое «пинь-пинь-пинь» и стук носов о крепкую кору.

Начинали падать листья, начинали украдкой, по одному, точно блюли очередь.

В ясном небе бесплотно отражалась на-бело вымытая солнцем юная и безгрешная земля, и небо отражалось в земле, как в выпуклом зеркале.

Неясными звуками был полон воздух: это звенели кузнечики где-то около на подсыхающих, тонких, как струны, травах, и что-то еще далеко было слышно, чего нельзя было понять, но без чего было бы скучно.

В этот день мимо сада провезли на скрипучей телеге татьяновца, Ивана Ткача, убитого в Студенке, на лесопилке графа.¹¹

Ткач лежал на ярко-желтой соломе темным пятном, а около него шагали его брат Михайло и студенецкий мужик, нанятый перевезти тело.

Убило его взрывом котла в машине, и этот взрыв для него, пильщика, был громом с ясного неба, разmozжившим ему череп.

В селе не знали о смерти Ткача.

На реке, под садом, его жена с женой Михайлы мочили лен. Снопы льна были навалены на берегу, светлые и рыхлые, и обе бабы, высоко подоткнув юбки, носили их в реку, вмазывали в грязь, чтобы не унесло течением, и звонко смеялись.

В реку гляделся, лениво щурясь, спокойный лес, и вместе с бабами смеялся берег, заросший белым лопушником, смеялся игриво, заразительно, как бойкий белобрысый мальчуган с торчащими во все стороны вихрами.

Его точно держал кто-то снизу, а он все хотел подняться и посмотреть вдаль, но не мог и, смеясь, боролся с кем-то узкими, как руки, песчаными косами, и волнистый, точно задыхающийся от смеха и борьбы, вырывался и катился дальше, пока не пропал за поворотом.

Когда показался на дороге медленный

воз, он тоже смеялся: вспыхивающие улыбки ползали по рубашам шагавших мужиков, по желтой соломе, чалой гриве лошади и блестящим ободьям.

Но на возу на соломе лежал плач.

Он был только не виден издали, а сила его, сжатого на узкой телеге, была так же велика, как сила смеха, разлитого кругом.

И когда он подъехал ближе, потускнел берег и глубже в воду ушло отражение леса.

Шевардин слышал, как заплакали, взвизгнув, женщины: сперва жена Ивана Ткача, потом другая. Это были страшные и резкие звуки, высокие и колючие, как кусты безлистого боярышника на лесной опушке.

Вдова вцепилась руками в тело Ивана и застыла на нем, безостановочно воя, и короткая клетчатая юбка мелко вздрагивала над ее ногами, покрытыми грязью.

И, потупившись, стояли около мужики, и, задумчиво опустив мягкую голову, шевелила ушами лошадь.

Плач так же многолик, как и смех.

С тихих улиц и издалека, с берега, спеша сходились татьяновцы, подходя, крестились, соболезнующе качали головами, и новые бабы начинали вторить плачущим.

Когда подошел к возу Шевардин, он увидел, как жена Ткача, безглазая от слез и красная, точно слезы сожгли всю кожу на ее лице, тыкалась в толпу грязными руками и причитала:

– Симнадцать копиек зосталось, мильенькие!.. Пятеро диток малых... симнадцать копиек... Маты моя ридна!..

От грязных рук на красном лице ее легли грязные полосы; слезы смывали их в мелкие ручьи, и от этого крик ее казался еще более ползучим и земным.

Все стоящие кругом знали, что у нее пятеро детей и что в домашнем обиходе ее никак не может быть больше семнадцати копеек, но от того, что она сейчас перед телом мужа вспомнила это, пятеро детей завертелись выпукло перед глазами, пятеро чумазых маленьких ребят, поднявших возню из-за семнадцати копеек, и это было похоже на суеверное заклинание, от которого ползут по спине мурашки.

А с телеги искривленным окровавленным лицом и пробитым черепом ядовито подмигивал в небо труп Ивана Ткача.

Неспокойный он был и после смерти, и сжатые ноздри его узкого носа, казалось, подозрительно принюхивались к воздуху, оттопыренное вспухшее правое ухо ловило звуки, а глаза встревоженно смотрели сквозь опущенные веки, не грозит ли им что-нибудь спереди, сверху, с боков.

Молодой рыжий Михайло говорил в

стороне апостольски старому деду:

– Должны яке-небудь пособые дать... семейству, стало быть... яке-небудь...

А дед отрицательно мотал головой и тягуче доказывал, что пособия граф не даст:

– Як десять, чи дванадцать годов тому задавило Трохима Бузыря та Грицка Крейду, тих, шо грахский камень били, дали шо-небудь?.. Эге!.. А як грахски собаки Панасову дивчину заили, дали шо-небудь? То ж то и е...

У старика был застывший, обращенный внутрь взгляд, но по желтизне его бороды от сухих губ вниз ползла ядовитая усмешка, такая же, как на мертвом лице Ивана, и, один лежащий, другой готовый лечь, они были – одно.

Хмурый студенецкий мужик дернул лошадь. Вздригнуло на телеге тело Ткача, блеснули, покотившись, ободья колес,

телега закрипела.

Кучка людей около воза двинулась за ним, как одно большое тело.

Подходили новые люди, и толпа росла, и все та же вдовья жалоба пестро, крикливо колыхалась над нею, как флаг при ветре:

– Симнадцать копиек зосталось, ридные мои-и! Пятеро диток малых!.. Ненька моя мила, шо ж я, сиротына, маю з ними робиты!

Сад на горе молчал, и, далекий и чуткий, молчал за ним неподвижный белый берег.

XII

Недели через полторы разнесся слух, что приедет граф на охоту.

Кругом все ожило и заспешило.

Шевардин не один раз видел, как по

дороге мимо сада на тройке с колокольчиками мчался куда-то Аукас, жиденский немец с острой лисьей мордочкой и длинным носом.

Около него неизменно галопировали два черкеса в высоких шапках и красных чекменях: один – старый, чернобородый, другой – молодой, верткий.

И встречавшиеся им мужики низко снимали шапки и, окутанные облаком пыли, молчаливо смотрели им вслед.

С берега реки было видно, как у белого дома на горе шевелились люди; говорили, что там мыли окна, выносили проветривать мебель, белили галерею.

Отец Мефодий откуда-то узнал, что граф хочет жениться на еврейке и с нею вместе приедет как с невестой. Возбужденный этим слухом, он явился в сад к Шевардину сияющий, как только что сошедший с иконы.

– Великолепный факт! – хитро щурясь, говорил он. – Ведь это значит, что нужно ее к православию приводить, ибо на еврейках, по закону, жениться нельзя. Теперь, этак нежно, раскинем мозгом: приглашать для наставления этой самой иудейки когонибудь со стороны неловко – разболтает; из монастыря архимандрита взять – тоже огласка, да и зачем такую персону, ведь это – форма одна, – разве для них важно. Выходит, что такой поп, как я, например, самое благое дело... Могила!.. И запугать можно и наградить можно... А вы как бы думали... Могила! И стоило бы дешево... А? Если бы, например, десятинок пятьдесят леску. Сосновенького...

– Губа не дура, – заметил Шевардин.

– И очень просто... Что ему пять-десять десятин. Это с сорока-то верст лесу! Все равно, что для нас с вами полтинник... А пять-десять десятин это того, с какой сто-

роны на это ни посмотри... Великолепный факт, а?

Почему-то дальше пяти-десяти десятин фантазия попа не шла, но за эти пятьдесят он держался крепко и даже назначал им приблизительно место – рядом с монастырской землей.

И, говоря об этом, он все смеялся, и курил, и хлопал Шевардина по колену, и слова его казались Шевардину противными и рыжими, как его подрясник.

Он знал, что о. Мефодий только что перед этим написал своим прихожанам жалобу на Аураса. Немец отвел одному из конторщиков место для постройки дома как раз около татьяновского кладбища, а для надворных построек приказал занять часть кладбища. Рабочие заняли. Пришли в субботу бабы на могилы, а могил никаких нет, – есть ямы, навален лес, и ветхая ограда кладбища отодвинута внутрь са-

жен на десять.

Бабы подняли вой, но мужики не бунтовали, помня черкесов и солдат, а собрались к о. Мефодию писать прошение и целый день галдели и писали.

Это случилось недавно, после ярмарки, но о. Мефодий теперь уже молчал о прошении, и оно лежало у него в шкатулке до выяснения вопроса о графской невесте.

Яблоки поспевали. За грушовкой и белью сняли анис, казачку, малиновку, царский налив. Погода стояла теплая, сухая, тихая, и пряный аромат так и реял в воздухе.

Помогать Шевардину пришел и писарь Яков Трофимыч с тремя малышами, которых негде было учить. Малыши в розовых рубашках сначала дичились, держались кучкой и смотрели исподлобья, но потом бойко шныряли в кустах, звонко кричали и перебрасывались гнилушками.

А в это время сам Яков Трофимыч глухо и тихо, точно заговорщик, гудел около Шевардина:

– Вот приедет, постреляет и уедет... только и всего... И зачем же, скажите, пожалуйста, между нами, ему такая масса земли дадена, а другие около него в загоне живут?

Шевардину казалось, что это назойливо жужжит около большая серая муха, и он отмахивался от писаря рукой. Яблок собрали много. Ими завален был шалаш, и большая, желто-розовая куча, свежая и лоснящаяся на солнце, тяжело лежала на сене возле самого входа.

Толстая баба, матушка о. Мефодия, приходила покупать эту кучу, долго рылась в ней, пробовала вкус, ломала яблоки жесткими руками, чтобы узнать, годятся ли в мочку, давала за пять пудов два рубля и, когда Шевардин засмеялся только в от-

вет, обиженная ушла.

Яков Трофимыч подмигивал ей вслед и, отвернувшись и спрятавшись за куст, беззвучно хихикал.

XIII

Приехал граф тридцатого августа днем.

Так как со станции до белого дома на горе дорога шла мимо села, то о. Мефодий встречал его – чего не бывало в прошлые годы – в толпе празднично одетых татьяновцев и с крестом в руках.

День был облачный, даль серая.

Накануне прошел дождь, и потому дорога была твердая и влажная, и четко было видно, как приближались звонкие кони.

Впереди мчались черкесы – шесть человек, треугольником, как летят журавли. Красивы были они, все в новых ярких

епанчах, крыльями вившихся сзади, в высоких папах, загорелые, хищные, чуть пригнувшиеся к лукам седел на сухих дыбившихся лошадях.

За ними в легком плетеном тюльбери, запряженном парой, ехали Аурас и становой пристав из монастыря. Аурас что-то говорил приставу, чего не было слышно за звоном колокольчиков и бубенцов, и размахивал тощими руками. Усатый круглый пристав, соглашаясь, покачивал головой.

За тюльбери выплывало ландо четверкой лошадей. Лошади все, как одна, редкой караковой масти, пристяжные с крутым отгибом голов, с плавным переводом ног. Кучер широкий и рыжий, в желтом атласе на груди безрукавки, с павлиньими перьями на голове. В ландо сидел граф – толстый, с отвисшими щеками, с ленивым взглядом из-под серой пуховой шляпы. Около него невеста – смуглая, большегла-

зая, похожая на итальянских певиц.

Мелькнули, и уже сзади новые экипажи: лошадиные морды, огненные птицы на дамских шляпках, кучера, звонкие бубенцы, лоснящиеся крылья колясок, колеса, слитые в сплошные круги.

Отец Мефодий широко благословлял едущих сверкавшим крестом; обнаженные головы толпы около него молчаливо склонялись до пояса.

Промчались, – и в воздухе остался только запах женских духов и конского пота, а головы татьяновцев все были притянуты туда, где в повороте дороги один за другим тонули и скрывались экипажи.

Шевардин стоял тут же, около самой дороги, глубоко заложив руки в карманы форменной тужурки. Из-под копыт и колес в его сторону летели влажные комья грязи, а в широкие извивы мозга глубоко вонзились четырехугольные щеки графа,

сощуренные глаза, мягкая шляпа, завязанные узлами хвосты лошадей, подушки из голубого бархата, белый платочек в чьей-то белой руке.

– Черненькую видели? – спросил о. Мефодий, когда шли они вместе к саду – один красный и радостный, другой сжавшийся и бледный. – Подцепил ведь, а? Понимает толк по этой части.

Глаза у попа были влажные, наваксенные, и зубы скалились, точно жевал он сырое мясо.

– Это итальянка, а не еврейка, – бросил в ответ Шевардин.¹²

– Толкуйте мне – итальянка! – шутливо отбросил поп.

Уверенный тон о. Мефодия понемногу взвинчивал Шевардина, и ему хотелось разозлить и выбить попа из седла иллюзий.

– Не видать вам, отче, ваших нелепых

десятин, как своих ушей. Итальянцы – католики, как известно, и к православию не приводятся, – медленно, точно баржу потянул, начал он.

– Ладно, ладно... Толкните мне – итальянцы... – легонько толкнул его в бок о. Мефодий.

– Итальянок я, отче, видел на сцене, в опере, – придумывал Шевардин. – Эта – точнейшая копия, и прическа такая же, и глаза тарелкой – все на своем месте. А кто вам писал насчет еврейки, – плохо слышал, а если сам сообразил, – голова у него очень уж туга.

– Да ведь брюнетка! – встревожился поп.

– То-то я и говорю, что голова туга: кроме еврейки, туда ни одна брюнетка не входит. Раз брюнетка, значит, и готово... Вы-то сами разве блондин? Целиком из Ефиопии.

– Я – особое дело, я лицо духовное, – немного обиделся поп.

– Ну, так вот-с, итальянцы хоть и не все духовные, зато все брюнеты. И введет он ее в русские дебри без всякого срама и с какой угодно оглаской, и не только вы ему, а и великолепнейший архимандрит ваш ему не нужен... Так-то, отче!

– Ври, ври... Мели, Емеля... – слабо защищался поп.

– Думаете вы, о чем они говорят теперь... – продолжал Шевардин. – Она ему певучим контральто: «Какой, мол, смешной поп с крестом на дорогу вышел и мужиков еще с собой привел!» А он ей: «Милая моя! Это что! То ли еще быть может. Стоит только намек сделать, – не то что Христа – далеко Христос – отца родного продаст за десятину, а приготовь ему осинку с веревкой в лесу, – небось не повесится по-иудину: осину срубит, обтешет

и продаст за трешницу, а веревку домой принесет, дворнягу привяжет... Например, кладбище тут есть... Хочешь, мы его распашем и спаржу посадим. Только приказать, – готово».

Отец Мефодий остановился и недоумело посмотрел на Шевардина.

– Это вы что?.. Это ты как, в шутку или в сурьез? – пробормотал он.

Глаза у него стали круглые и встревоженные, и смешливые морщинки под ними растянулись, как перчатки на пальцах.

– Я насчет шуток плох, отче, – остановился и Шевардин. – Да шутить тут и нечего. Больно уж вы привыкли на кривых ездить: чуть правду скажешь, сейчас и шутка.

– Так это ты мне? Мне, духовному лицу, слова такие... – задохнулся о. Мефодий.

– Тебе, тебе, отче, – вскинул Шевардин

на попа свой крупный подбородок. – Тебе, тебе!

– Ага! Так... Так ты вот какой!.. Ага, ладно!

Отец Мефодий хрипел, и глаза у него были неподвижные и красные.

– И агакать тут нечего, отче... Свинью куликом не назовешь. – такое дело.

– Свинью-ю?

Отец Мефодий оглянулся кругом, точно ища помощи, и увидел шагах в двадцати от себя писаря Якова Трофимыча.

С маленьким сынишкой на руках тот тихо шел сзади, выставив в их сторону уши.

– Слышишь! Яков Трофимов! Будь свидетель!.. Будь свидетель, как разбойник священника ругает! – закричал ему о. Мефодий.

Но писарь, согнувшись и семеня ногами, быстро-быстро двинулся вправо,

потом кустами, гумнами и исчез. И было слышно, как на руках его, должно быть испуганный бегством отца, кричал ребенок.

– Нонче же у пристава будешь, слышишь? – прошипел поп и пошел от Шевардина влево, а пройдя шагов пять, обернулся и крикнул: – Слышишь?

– А платить тебе двадцать рублей кто будет? Неужто расстанешься? – насмешливо крикнул ему вдогонку Шевардин.

Поп не ответил, но по тому, как он шел, размахивая широкими рукавами подрясника, видно было, что из седла иллюзий он выбит, и видно было, как что-то упрямое и злое вползло под его высокую, новую уже шляпу, и пыжилось, и ерошилось там, и кололо мозг.

А Шевардину стало весело и широко шагалось.

XIV

До поздней ночи он сидел и писал письмо Терновскому, писал карандашом, на простом листке бумаги перед свечкой, около которой вились и падали с обожженными крыльями мелкие ночные бабочки.

«Мне все опротивело, – писал Шевардин, – и сад, и Татьяновки на том берегу и на этом, и сорок верст графского майората, в которомдохнут от голода мужики, и то, что тут все молчит: и лес, и река, и люди. Главное, молчат люди, – и это меня душит, и хочется мне рывкнуть во весь голос с какой-нибудь высокой точки, ну хоть с монастырской часовни на горе: – Да сколько же еще – сто лет, тысячу лет – вы будете молчать? Вы – колокол миллионнопудовый! Каким рычагом можно раскачать и хватить в борта вашим языком так, чтобы дрогнул около воздуха?.. И воз-

дух здесь какой-то сонный: за все время, пока я здесь, не было ни порядочного ветра, ни грозы... Молчит. Молчат дни, молчат ночи. Точно змеи зимой, оцепенели и молчат в голове мысли. И почему это все на меня так сильно действует, что развинтились нервы? Может быть, и не нервы, а просто силу свою хочется приложить к чему-то большому, к какой-то огромной динамомашине так, чтобы далеко кругом завертели колеса и пошел трезвон. Молчит проклятый воздух, и я никак не могу понять, почему молчу я, если молчит воздух.

Если что случится со мной, и ты услышишь, не удивляйся; знай только, что мне опротивело до предела. Должен быть такой предел, дальше которого нельзя терпеть, иначе сам себе опротивеешь.

И знай, что здесь чудесный воздух, и на реку вечером наглядеться нельзя, и земля

здесь – ложись и целуй, только земля эта – майорат, река – майорат, воздух – майорат. Это проклятое слово сквозит здесь на каждом шагу, на каждом шагу перед тобой столб с надписью: «Езда воспрещается», «Ходьба воспрещается», «Стрельба воспрещается»...

Майорат давит меня со всех сторон. Он как огромное чудовище, съевшее все, что вдали, все, что вблизи, и от него тесно плечам, как в клетке. Он стал для меня живым, этот майорат... Скажи мне, что я не сошел с ума, или я сам себе не поверю!

По ночам я перестал почти спать. По ночам виднее небо, и не видно земли, и майората не видно. Тогда я представляю, какая красивая и полная смысла жизнь могла бы быть здесь, около меня, если бы не было майората.

Теперь, когда я пишу, именно такая

ночь: того, что на земле, не видно, и можно по-своему переставлять предметы и по-своему населять даль. И я переставляю и населяю. Около меня пахнут яблони, и я вспоминаю, что в Татьянаовке нет ни одного деревца, в то время когда вокруг богатейшая почва для сада. Вся земля вокруг могла бы быть одним роскошным садом, могла бы, но этого нет. Нет школ, нет больниц, нет красоты, нет смысла – одно сплошное «нет», вся жизнь – одно живое отрицание, воплощенное в нелепые избы, в хмельной чад, в кусок черного хлеба, из которого можно ковать ядра для пушек.

Представляешь ли ты картину жизни, когда человек живет так, что хуже нельзя придумать? Люди могли бы быть действительно царями земли, а здесь они узки, как иголки, выжатые под прессом майората и тесно воткнутые в жалкие клочки земли, когда вокруг огромный простор – чужой,

преступно чужой, потому что на нем один и совершенно лишний для жизни человек.

Трудящийся достоин пропитания; не знаю, кем это сказано и когда, но сказано именно то, что нужно. Мне хочется, чтобы трудящийся был достоин, и мне кажется, что я это сделаю.

Сегодня днем приехал сюда граф на охоту...»

Шевардин остановился, прочитал, что написал, и медленно разорвал весь лист сверху донизу. Потом вытащил из шалаша ружье, начинил патрон крупной заячьей дробью и зарядил.

Ружье отсырело и около курка покрылось тонкой ржавчиной. Шевардин вытер его паклей и снова отнес в шалаш.

Около свечки внизу нападала груда сереньких, как сумерки, легких и мягких, как паутина, ночных мотыльков, и Шевардин

долго сидел над ними в изучающей позе. Мотыльки все были вредные для растений, и слабые, и мелкие, еле заметные, но жаль их было и больно было смотреть, как они ползали недоумевающие, растерянные, ошеломленные светом, не умеющие шевелить остатками своих тонких крыльев, не в силах подняться и лететь туда, где в черном просторе пахли яблони.

И, чтобы не видеть, как они летят на огонь и падают, обжигаясь, Шевардин потушил свечку.

XV

С тяжелых осокорей падали легкие листья. Попав на свободу, они долго вились и плавали в воздухе, потом теплыми яркими пятнами бессильно ложились на землю.

Воздух стал прозрачный и звонкий, и в небо любопытно смотрели купы сосен

на самом горизонте. То, что было далеко, стало близким, и робко зазвучало то, что молчало.

Шевардин, начиная с утра, целый день ходил по дорогам около монастыря и графского дома. За плечами его висело ружье с замысловатой надписью на ложе: «Се гут, се бон, се балабанюка, се Лондон, се кузнец Иван Коваль». В своей куртке с зелеными кантами он был похож на лесника, высматривающего порубки.

Сад он бросил на произвол татьяновцев; впрочем, последний сбор был уже продан по мелочам, а оставались неснятыми только крепкие сорта – антоновка, титовка, шафран, и то всего несколько яблонь.

Походка его была та же легкая походка с развальцем, а неоформившиеся плечи стали еще шире за лето и распирали по швам тесную куртку, но угловатое лицо

было бледно.

Шевардин решил застрелить графа в первый же момент, как его увидел.

Ему представлялась старуха прачка, тетка из Новгорода-Северска, вечно мокрая, усталая и пьяная, аккуратно трогательная со своими рублями на Пасху и Рождество; представлялось ее сморщенное лицо и потрескавшиеся от воды руки, и то, как она заохает и заголосит, когда услышит, что он убил человека.

И в то же время было неоспоримо, что ей не от кого услышать, что между ним и ею нет никаких звеньев, и он один.

Он прошел спокойным деловым шагом сначала к графскому дому, потом к монастырю, потом перешел через мост и обогнул Неижмаково.

К полудню он был на мельнице Буднякова. Мельница стояла в лесу на глубоком и чистом заливе. Из темной воды около

плотины торчали черные кривые зубья старых свай, и какие-то древние коряги протянули над самой водой узловатые лапы.

Видно было, какая бездонная и холодная была вода, и неподвижная и густая внизу, как слизь. В стороне стучала мельница, но тут, в омуте, было тихо.

Шевардин представил, что можно броситься и утонуть в этой воде и лежать там, внизу, в холодной слизи между черными сваями и лапами коряг. Представил и отвернулся. Вырос перед ним безликий страх и заглянул в душу белыми глазами, такими белыми, тусклыми, как у мертвеца.

С плотины видно было, как колеса мельницы, огромные, медлительные и слепые, в мелкие брызги дробили рыдающую и бьющуюся внизу воду, и она быстро-быстро – не успевали следить гла-

за – падала с черных, скользких от моха решеток в виде мелкой, искристой, сверкающей, плачущей сети.

На мельнице над ковшами белым туманом стояла мучная пыль, и все мужики, возившиеся там, и пузатая баба в красном платке, и синеглазый мальчонка в широких пестрядинных портах были сплошь седые от этой пыли.

А на плотине в стороне стоял воз с понурой гнедой клячей, которая усиленно думала о чем-то своем, лошадином, думала упорно и бесконечно, не замечая ни черных свай справа, ни ревущих огромных колес слева, ни носящейся везде мучной пыли.

Шевардин смотрел и чувствовал, что кругом разлито что-то жестокое, по всем направлениям вошедшее в жизнь, как тонкие стекла, и один конец такого стекла вонзился в мозг гнедой клячи, другой

острый конец такого же стекла торчит в его мозгу, и перед этой жестокостью они – одно. Вспоминались огромные, как два самовара, коричневые руки того, который убил жену с любовником, и правдивый взгляд его маленьких глаз. В нем тоже стояла эта жестокость, резала пополам его душу, поэтому он убил.

Откуда-то из глубины, навстречу тому миру, который был перед ним, развертывался, как свиток, мир другой, в котором земля была старая, измятая, застывшая, полумертвая, ждавшая толчка извне, чтобы ожить.

Эта земля – были люди кругом: синеглазый мальчонка, пузатая баба, бородастые мужики, седые от мучной пыли, и та страшная толпа на монастырской площади.

Толчок для этой земли был еще мертв в его руках, но должен был ожить, чтобы

оживить землю.

Шевардин еще накануне узнал, что граф каждый день выезжает кататься со своей невестой и сам правит лошадью. И ему все чудилось, что вот они едут по дороге.

Красивой рысью бежит караковая лошадь с подвязанным хвостом, и мягко подпрыгивают колеса. Крылья коляски блестят, и блестит чеканная сбруя. От мягких толчков дороги у графа, как студень, дрожат жирные щеки, а в ее большие жадные глаза медленно вливается сорок верст майората.

А майората тогда уже не будет, так как граф холост.

С мельницы заметили Шевардина, и медленной косолапой походкой, в широких белых сапогах к нему подошел мельник Будняков. Вид у него был степенный и мохнатый, как у жука, упавшего на спину

в пыль и после долгих усилий поднявшегося снова на ноги.

– Поохотиться, мабудь, прийшлы? – Он приподнял немного козырек белого картуза и снова шлепнул его на брови.

– Да, да... вот именно, поохотиться, – не спеша ответил Шевардин, затягиваясь папиросой.

Гнедая кляча в стороне чуть шевельнула повисшими ушами, точно прислушиваясь, потом опять задумалась о чем-то своем, лошадином.

– Так-с! – протянул мельник и лениво сдвинул картуз совсем на глаза. – Тилькы шо охотиться здесь нема дозволения... значит воспрещено, – добавил он, мигая из-под козырька обмученными ресницами.

– Я знаю, что у вас все воспрещено, – криво усмехнулся Шевардин. – На ногах-то ходить вам еще не воспрещают? Может,

на головах приказано?

Вид у мельника, приземистого и плотного, был по-прежнему основательный и невозмутимый.

– Ни, насчет сего не було приказу, – качнул он головой. – Ходимо, як треба. А вы видкиля сами?

– Татьянаовский, – смеясь глазами, ответил Шевардин. Он смотрел на мельника и думал, что тот говорит с ним теперь спокойно, как с разным, даже как с высшим, а завтра, быть может, будет смотреть на него, как на преступника, с недосягаемой высоты правого человека.

Подъехал на паре волов еще длинный воз с зерном, и мельник повернулся к возу и пошел от Шевардина тою же обидно медленной походкой, какой шел к нему от мельницы, и было в нем много спокойной земли и того глубокого омута, из которого подымались черные зубы свай.

Шевардин пошел вдоль берега по узенькой, лукаво прячущейся дорожке, между кустами все еще зеленой лозы.

И снова, как тогда, в первый день, почувствовал, что на его плечи навалилась огромная тяжесть и, придавив его к земле, сползла вниз.

Представлялась зала суда. Масса народа. Говорит защита, говорит прокурор... Его осудят, он знал...

Тропинка вывела на дорогу в Татьяновку из Пришиба, дорогу, черную от глубокого лесного чернозема и мерцающую в гладко накатанных колеях.

По бокам ее стояли матерые дубы и осокори, и с их тяжелых, широких сучьев падали вниз легкие листья. И в том, как падали листья, была тайна и чудился страх с белыми глазами.

А сквозь прозрачный и звонкий воздух, любопытно вытянув тонкие шеи, смотре-

ли далекие сосны с горизонта; и где-то хрипел, пролетая, вальдшнеп, где-то далеко, но было слышно.

И в тонкий запах вянущих листьев врывались густые смолистые волны: это дышал на меловых холмах сосновый лес.

XVI

Он встретил графа вечером, когда на дорогу от лесной стены сзади упала сплошная тень, а в лесной стене спереди зазолотели верхушки и синей паутиной обвились стволы.

Он сидел над дорогой в широких кустах липняка и думал уже, что сегодня граф не поедет или поехал в другую сторону. Но издалека донесся топот верховых, — несколько пар копыт били по твердой земле с перебоями рысью, и слышен был за ними мягкий катящийся шум.

Шевардин вздрогнул. То, что было далеким, вдруг стало близким, что было в бесплотных мыслях внутри, готовилось найти себе место вне.

И почему-то опять на миг вспомнились тетка из Новгород-Северска и дед Никита с ясными глазами, сквозь которые прошла целая жизнь.

Снятое с плеч ружье дрожало в руках. Из-за густого липняка Шевардина не было видно, но он видел.

На повороте взметнулись между безлистыми сучьями две черные черкесские шапки, под ними малиновые чекмени и остроухие лошадиные морды. И оглушительно, как ночной гром, около самых ушей Шевардина стал падать мерный топот.

Издали наборные белые бляхи уздечек, поясов и рукояток кинжалов кололи глаза.

Это были те же самые двое: один ста-

рый, чернобородый, другой молодой, верткий. Хищно склонившись над седлами, рысью они промчались мимо, в десяти шагах, и уже зарябили слева по дороге, а из мглистых сучьев справа, на смену им, тупым пятном закачалась красивая пригнутая голова караковой лошади... ближе... ближе...

Шевардин чувствовал, как что-то широкое и мягкое с каждым толчком сердца подымалось к его голове, раздвигало стенки черепа и быстро ухало книзу. И два желтеньких листка перед ним вздрагивали на желтых черешках, и тонкие черешки казались широкими, как ставни, и мешали смотреть.

Граф был в темно-синей венгерке, в конфедератке, делавшей его похожим на жокея, и в серых перчатках. Он правил, натянув вожжи. Она рядом с ним в широкополой низкой шляпе, пышноволосяя

и смуглая, улыбалась и шурилась от быстрого бега.

Легкая коляска была узка, и сидели они тесно, точно сливались.

Оставалось несколько шагов...

Шевардин отчетливо самому себе сказал: «Конец!» – продвинул вперед ружье и взял мушку.

Тут же мелькнуло в нем кроткое: «Пусть живет!» – но припомнились слова писаря об ястребе: «Птица к бою крепкая, в нее весь заряд всади, тогда так...»

Качнулась над острием мушки отвисшая, как у старого дога, левая щека графа, и незаметно для самого себя, точно боясь потерять что-то, Шевардин поспешно нажал курок...

Оглушенный выстрелом и отброшенный назад отдачей, Шевардин не сразу пришел в себя, а когда пришел, то увидел, как взбесившаяся испуганная лошадь мча-

ла коляску; из коляски полувыпало и тащилось головой вниз по земле толстое тело графа; светлая кофточка его невесты была окровавлена сзади и шляпа сбита, и, подняв руки, она кричала так же страшно, как страшно трепалась по земле, подпрыгивая на кочках, обнаженная голова графа. Черкесы мчались с боков, стараясь поймать упавшие вожжи и остановить лошадь.

Несколько секунд они были видны так все, потом пропали за поворотом, и слышны были только бешеный топот и страшные крики.

Тогда Шевардин поднялся, холодный и бледный, и, бросив в кустах патронташ и ружье, побежал вдоль леса в Татьяновку.

Так же стояли на его пути столетние осокори и суховерхие дубы и роняли листья.

Заряд заячьей дроби почти целиком вошел в голову графа и ранил в лицо его не-

весту.

Когда на следующий день сознавшегося Шевардина вели через Татьяновку в город, в тюрьму, на него вышло смотреть все село.

Сеял мелкий дождь, и земля размокла и осклизла, как сырая кожа.

В сетке дождя беспросветно-плакучими казались избы с обвисшими тяжелыми очеретяными крышами; но лица толпы были оживлены.

Длинный и тощий Иван Коваль громко жаловался о. Мефодию, что пропало теперь вплоть до суда его ружье, а о. Мефодий с силой перебивал:

– Что твоё ружье! Тут двадцать рублей за разбойником пропало, и то молчи... Да и что двадцать рублей. У меня, может, через него целое состояние пропало, а не двадцать рублей.

Со стороны огородов бежала, накрыва-

ясь платком от дождя и подбирая юбки, та самая девка, которая боялась идти к Шевардину на поденку. На бегу она останавливалась и звонко кричала кому-то сзади:

– Фроська-а! Та иды-бо швидче! Ведуть того, шо грахва убыв!

А в одном тусклом окне за кисейной занавеской Шевардин узнал чуть видимое полузакрытое лицо писаря, но, когда он взгляделся в него, оно пропало, как ползучий призрак.

От дождя горизонт сделался смутен и узок; реяли плоские крыши, чернели трубы, дымилась деревья; желтели кругом чело­вечьи лица.

Шевардин двигался по скользкой дороге, опустошенный и спокойный; загадкой казалось ему, что было впереди, сказкой, что было сзади, сном, что было около.

Комментарии

¹ с. Татъяновка сохранила свое название до настоящего времени. Находится на территории Славянского района Донецкой области в полукилометре от Святогорской Свято-Успенской Лавры. Татъяновка населена одновременно со строительством усадьбы владельцев Святогорского имения Александра Михайловича и Татьяны Борисовны Потёмкиных в 40-х гг. XIX в. Крестьяне Татъяновки были заняты на обслуживании хозяйственных комплексов имения и непосредственно усадьбы, состоящей из летней резиденции и двух флигелей. Название село получило от имения Татьяны Потёмкиной, известной своей набожностью и благотворительностью. В период написания повести с. Татъяновка входило в состав населенных пунктов Изюмского уезда Харьковской губернии.

² Святогорский монастырь находится от Татъяновки вверх по течению реки. Ниже по течению Донца в пяти верстах монастырь может находиться только по отношению к с. Богородичное. В этом селе была приход-

ская церковь, в отличие от Татьяновки, где собственного храма община не имела. Лишь в доме графа была домовая церковь в честь Александра Невского, освящённая архиепископом Харьковским Филаретом (Гумилевским) в 1854 году. Эта церковь была изначально приписана к приходской церкви с. Богородичного, поэтому вполне объяснимы права местного батюшки о. Мефодия на фруктовый сад в с. Татьяновка и интерес к расширению земельных участков церкви за счёт графских владений.

³ После реформы 1861 года, местные крестьяне получили наделы земли из Святогорского имения Потёмкиных в пределах 1,2-1,5 десятин на семью для ведения своего хозяйства. Луговые угодья и лесные насаждения остались в собственности Потёмкиных, а с 1872 г. – графа Г.И. Рибоьера, наследника Потёмкинского имения в Святых горах.

⁴ Святогорское имение, как частное владение, возникло в 1790 г., когда императрица Екатерина II подарила земляные угодья за-

крытого в 1787 г. Святогорского монастыря, князю Григорию Потёмкину-Таврическому. В то время имение насчитывало 27 тыс. десятин земли (30 тыс. га), из них большая часть приходилась на лесные насаждения. Земельные угодья князя простирались на десятки километров по обоим берегам Донца начиная от с. Студенок и вниз по течению до с. Сидорова. В течении XVIII-XIX вв. имение сохраняло свои границы и даже несколько расширилось за счет приобретения прилегающих владений и спорных земель. Монастырью, при его возобновлении в 1844 г. было передано из имения 300 десятин.

⁵ Приведенные свидетельства не соответствуют действительности. Прадед графа Георгия Рибоьера, Жан Рибоьер прибыл в Россию из Франции с рекомендательным письмом Вольтера и назначен был адъютантом князя Г. Потёмкина Таврического. В чине бригадира Жан (Иван) Рибоьер сражался с турками и был убит во время штурма Измаила в декабре 1794 года. Его сын, А.И. Рибоьер в 1809 г. женился на Екатерине Михайловне

Потёмкиной, родной сестре владельца Святогорского имения А.М. Потёмкина. В 1872 г., после смерти А.М. Потёмкина и Е.М. Рибопьер (Потёмкиной), Георгий Рибопьер стал единственным прямым наследником Святогорского имения. Графский титул получил дед Георгия, Александр Иванович Рибопьер в 1856 году. До этого времени он успел побывать адъютантом Павла I, членом посольства в Вене при графе А.К. Разумовском, отсидеть в крепости с конфискацией имущества за дуэль с князем В.Б. Четвертинским. После реабилитации императором Александром I, А.И. Рибопьер возглавлял Государственный коммерческий банк, был посланником в Константинополе, членом Государственного совета. Умер в 1865 году.

⁶ Георгий Иванович Рибопьер родился 15 августа 1854 г. в Царском Селе. До 1870 г. учился и воспитывался в Европе – Италии, Швейцарии. В возрасте 23 лет, в чине поручика принимал участие в сражениях с турками во времена войны 1877-1878 гг. За мужество и храбрость награжден орденом св. Анны IV

ст., французским орденом почетного Легиона, румынским Железным Крестом. В России Г.И. Рибопьер известен как единственный наследник богатейшего рода Рибопьеров, организатор Олимпийского движения в России (в 1900 г. по предложению Пьера де Кубертена он вошел в состав МОКа и обеспечил участие России в Олимпийских играх 1908 г. в Лондоне). Г.И. Рибопьер был в молодости известным атлетом и покровительствовал атлетическому спорту. Сам он жил в Петербурге, где имел особняк, который внутри был, по свидетельству современников, более похож на музей из-за огромного количества редких вещей и произведений искусства. Увлечением графа были лошади. Он держал несколько конюшен с рысаками, владел конезаводами, в том числе в Святогорском имении. Здесь он застроил территорию на левом берегу Донца гостиницами, дачными заведениями, ресторанами. К месту, где традиционно проходила Успенская ярмарка, напротив Святогорского монастыря, граф проложил узкоколейную железную дорогу (конку) от станции Святогорская. Крупным предприятием имения графа считался

лесопильный завод, где работали 90 наемных работников. Сам граф не часто посещал Святогорское имение и вел по свидетельству современников «крайне замкнутый образ жизни, и у него никого, кроме самых близких друзей не бывало». Чаще приезжала в Святые Горы жена графа, которая по оценке друзей графа была, «красивая, но взбалмошная женщина». Граф умер в 1916 году в возрасте 62 лет. В период посещения Сергеевым-Ценским Святогорска, Г.И. Рибоьеру действительно было «лет сорок с хвостиком», по определению местного батюшки о. Мефодия.

⁷ Речь идет о ближайшем помощнике управляющего экономией графа Рибоьера Краинского по фамилии Аврос.

⁸ Действительно, в августе 1894 года на Успенской ярмарке произошло серьезное столкновение местных крестьян с охраной экономики – конными черкесами. Причиной конфликта стало ужесточение порядка отведения мест торговли, повышение стоимости за аренду мест торговли и жестокое об-

ращение с местными крестьянами.

⁹ Дом графа Рибопьера построен был еще предыдущими владельцами имения – А.М. и Т.Б. Потёмкиными в 1842-1843 годах, после получения Святогорского имения в наследство от матери А.М. Потёмкина – княгини Т.В. Юсуповой, умершей в 1841 году.

Дом представлял из себя двухэтажный особняк на высоком цоколе с двумя ризалитами и широкой открытой верандой, откуда открывался великолепный вид на монастырь. Писателю А.Н. Муравьеву, который часто останавливался в доме Потёмкиных на правах друга, Святогорская усадьба напоминала «римские виллы Фраскати». В.И.Немирович – Данченко также сравнивал дом Рибопьера с «итальянской виллой». Место для дома было выбрано действительно удачно – на срезе горы над Донцом в пятистах метрах от монастыря. За домом был устроен парк с декоративными растениями и деревьями, привезенными из крымского имения Т.Б. Потёмкиной. За парком начинались липовая роща и строения с. Татьянаовка.

Граф Рибопьер произвел небольшую рекон-

струкцию дома и достроил два флигеля. Один использовался как место отдыха для гостей, другой – для обслуживающего персонала и управляющего имением. Дом графа и флигели усадьбы, как и парковая зона – не сохранились. Липовая роща существует до настоящего времени.

¹⁰ с. Неижмаково – вымышленное название с. Банное (ныне Святогорск), расположенное напротив монастыря на левом берегу Донца. Село возникло в сер. 70-х гг. XVIII века на землях монастыря, поэтому изначально крестьяне принадлежали Святогорской общине, а с 1787 г. были переведены в государственные. С передачей имения с населенными пунктами в собственность князя Потёмкина-Таврического, крестьяне стали крепостными князя и его наследников.

¹¹ с. Студенок – село в 10 км от Святогорска, сохранило свое название. В настоящее время входит в границы Изюмского района Харьковской области. В Студенке граф Рибопьер выращивал скакунов на созданном им

конезаводе. Кроме лесопилки в Студенке были расположены винокуренные заводы производительностью по 5 тыс. ведер в год, доставшиеся князю Г. Потёмкину от Святогорского монастыря.

¹² По свидетельству хороших знакомых графа Рибопьера, его жена была венгеркой и граф женился на ней, когда у нее родилась дочь, единственная наследница его огромного состояния. Однако после октября 1917 г. Святогорское имение Рибопьера было национализировано и прекратило свою историю как наследственное владение. Дом графа был разграблен и отдан под устройство приюта для беспризорных. После войны, в 50-х гг. XX ст. следов усадьбы уже не наблюдалось. На месте дома Рибопьера санаторием им. Артёма была построена железобетонная конструкция с трудноопределимым практическим назначением.

Содержание

Вступительное слово	3
Сад	21
Комментарии	166

Літературно-художнє видання

С. Н. Сергєєв-Ценський
Сад

Повість

Автор вступу та коментарів

В. М. Дєдов

Комп'ютерна верстка та оригінал-макет

В.М. Дєдов

Підписано до друку 11.08.2010.

Формат 60x84 1/32. Папір офсетний.

Друк офсетний. Гарнітура Times.

Обл. вид. арк. 3,28. Тираж 1000 прим. Зам. № 105/5.

Державне підприємство «Ордена «Знак пошани» всеукраїнське державне
багатопрофільне видавництво «Донбас».

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єкта видавничої справи
ДК № 728 від 19.12.2001.

Виготовлено ТОВ «РА «Ваш імідж».

83055, м. Донецьк, вул. Артема, 80а.

За участю ФОП Малихіна І. Б.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників
і розповсюджувачів видавничої продукції ДЦ № 135 від 09.02.2008.

